

Юзеф Игнаций  
Крашевский



**Инфанта**



История Польши

Юзеф Игнаций Крашевский  
**Инфанта (Анна Ягеллонка)**

«Э.РА»

1884

УДК 821

ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

### **Крашевский Ю.**

Инфанта (Анна Ягеллонка) / Ю. Крашевский — «Э.РА»,  
1884 — (История Польши)

ISBN 978-5-99062-234-0

Роман «Инфанта» является двадцать первым романом из замечательной серии «История Польши». Он относит читателя ко времени недолгого правления в Польше Генриха Валуа (1572–1575). Главная героиня романа – Анна Ягеллонка, последняя принцесса рода Ягеллонов. Её несчастливая жизнь, борьба за власть, любовь к Генриху, надежды и мечты мастерски обрисованы в этой книге, принадлежащей поистине руке мастера.

УДК 821

ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-99062-234-0

© Крашевский Ю., 1884

© Э.РА, 1884

# Содержание

Книга первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	61

**Юзеф Игнаций Крашевский**  
**Инфанта**  
**(Анна Ягеллонка)**  
*Исторический роман*

*Józef Ignacy Kraszewski*

Infantka. Powieść historyczna. (Anna Jagiellonka.)

© Бобров АС. 2017

## Книга первая

### Надежды

На небе и в календаре была весна, но в варшавском замке грусть, такая унылая и гнетущая, облачала лица, казалось, даже отражается на серых его стенах, как если бы это был умирающий мир поздней осени.

Это противоречие между образом природы и обликом людей ещё отчётливей давало чувствовать беспокойство, которое их подавляло.

Всё дышало какой-то горечью и сомнением, всё и все. Одно исключение составляли, быть может, батраки и челядь, которая пользовалась разладом, чтобы паясничать безнаказанно.

Был вечер, колокола отзывались лениво, хмуро, вяло и жалобно, призывая на молитву, которая заканчивала день.

Возле замка сновали задумчивые фигуры, медленными шагами меряющие двор, смотрящие вперёд изумлёнными глазами.

Никто не смел резко поднять голос, шептали, словно боялись звука собственной речи. От города также, уже в это время собирающегося на отдых, доходил только глухой шум, значение которого распознать было трудно.

В воздухе весеннее дуновение иногда приносило запах разросшихся лесов, поднятых вод Вислы, лугов, покрытых первыми цветами.

Небо не спеша сбрасывало с себя яркие блески вечера и одевалось в желтовато-серый ночной халат, на котором кое-где уже бледные более старые звёзды вышедшие вперёд, как на разведку, светились.

В нижних внутренних галереях замка людей было видно мало. Показывался иногда придворный в одежде королевского цвета, старший коморник, либо плохо одетый сторож с ведром воды, со связкой дров для кухни.

У одной колонны на лавке отдыхал немолодой уставший мужчина с морщинистым тёмным лицом и, как ночь, грустным. Он вытирал со лба пот.

По одежде трудно было догадаться, кем он был, ибо одежду имел скромную, серую и не выглядел паном, но лицо, на которое падали отблески вечера, могло ставить его хотя бы между сенаторами – было таким серьёзным и благородным.

Лицо его носило на себе знаки тяжёлых сражений, после которых остаётся усталость, но не огорчение. В печали был виден покой совести, который даёт достойную жизнь.

Он отдыхал, но даже в эти минуты мысль его должна была работать. Наименьший шум привлекал его внимание и обращал взгляд. Он стоял на часах. Несколько раз он подвигался, словно хотел встать, и оставался на месте.

Невольно, бессознательно, в такт мыслей, которые пробегали по его голове, старик поднимал руки, выпрямлял плечи, покачивал головой, и сидел потом каменно неподвижный.

Он взвешивал себе что-то и рассчитывал и так был охвачен этой своей заботой, что не заметил и не услышал, когда идущий медленным шагом по галерее мужчина почти одного с ним возраста, но более энергичный и живой, подошёл к лавке и к нему.

Только тогда, когда подошедший заслонил с запада ему свет, он медленно поднял голову.

Они молча поздоровались движением рук и головы, словно им обоим трудно было найти слово.

Прибывший, на которого упал свет со двора, выглядел очень рыцарски. Хотя не имел на себе ни доспехов, никакого военного знака, можно было поклясться, что провёл он жизнь в солдатской службе.

Лицо на удивление, несмотря на возраст, было красивым и благородных черт, чисто польских; седеющие свисающие усы покрывали губы и почти спускались на грудь, одежду имел старомодного кроя, безвкусную, что в это время было необычным, потому что все одевались вызывающе.

– Ну что, мой обозный? – сказал приглушенным голосом прибывший. – Ну что? У тебя нет какой-нибудь утешительной новости, которая меня бы подкрепила?

Обозный короля Августа, Карвицкий, заломил руки, лежащие на коленях, поднял голову и тяжело вздохнул.

– А! Мой ротмистр, милый пане, – ответил он мрачным могильным голосом, – в это несчастливое время откуда что доброго взять? Кажется, что Провидение в непостижимых своих приговорах сосредоточило над нашими головами и над этим несчастным королевством все катастрофы, какие только могут огорчать людей.

Ротмистр Белинский ответил вздохом на вздох.

– Помните то, – ответил он спокойно, – что оно, Провидение, кресты посылает тем, которых Бог любит и что они есть проверкой добродетели. Сетовать – напрасная вещь и немужская. Как на войне, пане обозный, на часах нужно стоять с чётками и саблей, то есть с верой в Бога и собственную силу.

Обозный Карвицкий поднял голубые глаза, поблекшие от возраста и сейчас серые, уста его скривились и из груди снова вырвался невольный вздох.

– Не удивляйся, что человек стонет, ротмистр, – сказал он. – Жестокое бремя, подчас голову потерять можно.

Белинский умолк, по-видимому, и он чувствовал это бремя.

– Что же с королём, нашим милостивым паном, – спросил он через минуту, – что говорят врачи?

– Пан Станислав Фогельведер и немец Рупперт, по всей видимости, одно говорят, – отвечал обозный, рядом с которым занял на лавке место ротмистр Белинский. – С королём плохо, очень плохо, а лекарства и лекари разве помогают, если кто жизнь не уважает?

– Действительно, – прервал, поднимая руку, Белинский, – и я так утверждаю. Телу никакой лекарь не поможет, когда душа болит и рада бы бежать из него. Ведь это мученик!

– А так! – подтвердил горячо Карвицкий. – Кто же это лучше нас знает, мы издавна на его службе и знаем эту грустную историю. Те, что смотрят издали, могут обвинять, ворчать, обременять его тем, что по собственной вине в это попал, но мы знаем, что он стал какой-то жертвой судьбы, которая его, пожалуй, от колыбели преследовала. Лучшего и благороднейшего человека, монарха большего сердца на свете, пожалуй, не найти, а вот так напрасно гибнет, даже памяти по себе не оставляя, какую заслужил. О, Боже!

Слушая, с головой обращённой к говорящему, ротмистр внимательно ловил каждое слово.

– Не нам его судить, – сказал он, – бедный пан, бедный пан!

Карвицкий с великой живостью обратился к ротмистру.

– Вы его лучше знаете, – сказал он, – но другие? Судят его по тому, что теперь делает, когда уже собой почти не владеет, а не смотрят на то, что его к этому состоянию привело.

– У него так плохо со здоровьем? Гм! – спросил Белинский.

– Хуже быть не может, – отпарировал обозный, – руки и ноги артрит и подагра беспокоят, внутренние боли терпит, а ещё более сильные от ума. Заботы его съедают, сам уже не знает, что делать.

– Ах! Милый брат, много он их сам себе придумал, – сказал, понижая, голос, Белинский, – но, правда, и люди принесли их ему много.

Немного поколебавшись, ротмистр добавил:

– Но вам уже нужно прочь из Варшавы, пока есть время. Чумной воздух кругом её опоясывает. В Окуневе люди падают, как мухи, а, по-видимому, и тут, в предместьях и в самом городе смертельных случаев было много, которыми надвигающаяся чума уже объявляет о себе. Никаким дымом от неё не избавятся.

– Так выбираемся отсюда, но не знаю, куда, – сказал обозный Карвицкий, – ехать с больным паном будет также немалой заботой. Сидеть, хотя бы в самой удобной колыбели, не сможет; нести себя не даёт, пожалуй, его с ложем на телегу положим, а по нашим дорогам такая телега не везде пройдёт без вреда.

Оба потом замолчали, смотря перед собой молча.

– Замучили его, – сказал Белинский после долгого перерыва. – Бона сначала держала его долго под фартуком. Если бы в то время, как его на войну отправили, не сбила его с дороги, не сломался бы в здоровой лагерной жизни, молодым и крепким был бы сейчас, как я, что не чувствую себя старым. Как цветочек, в тени рос и вытек бледный, бедный и хрупкий. Дали ему первую жену, тогда её ревность Боны быстро убила; женился на другой, которая стоила ему много горя, и эту у него мать отобрала. Женился на третьей и с той жить не мог из-за ужасной её болезни, а развестись ему не дали.

Опустился до всяких любовниц... и так последний из той великой крови королей, без потомства, жалко сходит, не зная даже, кому оставить страну, которую так любил.

Одна королева Анна осталась нам дома, а и той уже вроде бы недалеко до пятидесяти!

– Тихо! – прервал обозный. – Нам, королевским слугам, даже имени её произносить нельзя. Плохие люди так сумели посеять раздор между детьми, что король её на глаза не пускает, имеет великое предубеждение. А эта несчастная глаза себе выплачет.

– Теперь всё-таки к ней и королевство, и Литва придут после смерти короля, упаси Бог! Она с этого года тут дома.

Обозный встряхнул плечами.

– Так бы оно было, если бы корона наследственной называлась, – ответил он, – но здесь уже заранее поговаривают, что будут выбирать себе короля, какого захотят.

– А! Не может быть! Возмутительная несправедливость и неблагодарность была бы, – крикнул, повышая голос и сразу его понижая, Белинский.

– Послушайте же, – сказал спокойно обозный.

И молчали снова.

– На это королевство, – прибавил Карвицкий потихоньку, оглядываясь вокруг, словно боялся подслушивания, – на это королевство заранее уже многие охотятся. Ещё король не сомкнул век, а тайных послов и шпионов по сенаторам, по шляхте, по духовенству ходят тьмы. Один Бог знает, чём кончится эта торговля.

– По-моему, по-солдатски, – ответил Белинский, – вещь очень простая и ясная. Принцесса имеет первое право на трон, кто будет выбран, женится на ней. Не так ли было с королевой Ядвигой?

Карвицкий покачал головой.

– Это были наипростейшие и наичестнейшие сердца тех времён, – сказал он, – сейчас люди очень помудрели, на добро и зло используя разум. Кто тут угадает, что будет.

И, немного подумав, добавил, обращаясь к ротмистру:

– Говорят, что брат короля Франции старается о короне, предлагая жениться на королеве Анне, а у нас тут и громко, и потихоньку есть немало продажных, которые императорского брата или племянника поддерживают. Литва царя Московского взять готова, чтобы от него мир имела. Имеются и такие, что за прусского князика голосуют.

– Заранее! Заранее! – с возмущением прервал ротмистр. – Годится ли это! Или Бог не всемогущ и не может пану здоровье возвратить, продлить жизнь и даже сына дать в позднем возрасте, как Ягайле? Медведь в лесу и тот на продажу шкуру несёт. О, люди, люди!



– Всеми виной, – добросил Карвицкий, – те, что развод его допустить не хотели. Кардинал Коммендони больше всех, потому что настаивал для чести императорского дома не разлучать их, когда церковь в таких случаях тяжёлой и отвратительной болезни, невозможной совместной жизни, не раз развязывал брак и позволяла жениться.

Белинский, морщась, нагнулся к уху обозного.

– А было бы лучше, если бы, приняв развод, настаивал жениться на Заячковской?

Он шептал потихоньку и искал глазами взгляд товарища, который уставил глаза в землю и голову грустно свесил на грудь.

– Было мгновение, когда он непременно настаивал на той Ханне, – добавил он, – а кто знает, не думает ли и сейчас ещё о ней. Говорят, что её, по-княжески одарённую, держат в Витове. За одно ложе для неё четыре тысячи дукатов заплатили! Господи, прости! Если бы из могил встали те, которым Радзивилловны для короля было слишком мало, что бы сказали о Ханнуса Заячковской?

После короткого молчания Карвицкий сказал:

– Всеми этому баламутству виной плохие советчики, не он. Хотели ему жизнь подсластить бабами, а ими его отравили. Прости, Господи, крайшему, подчашему и иным помощникам, которые ему любовниц находили, рекомендовали и приводили. Началось с той горожанки, Баси Гижанки, которая сейчас ездит на четырёхконной карете; потом пошла Зюзя Орловская до тех пор, пока не присмотрели Ханну Заячковскую между фрауцмер принцессы Анны, которая теперь кается за неё и слёзы проливает.

– Он стал таким немощным наконец, что уже своей воли не имеет, – вздохнул ротмистр, – любой слуга, как тот Княжник, делает с ним, что хочет.

– Страданием, заботой, страхом бездетной смерти он так утомился, что сейчас ради святого мира всем готов пожертвовать, – начал Карвицкий. – Недостойные люди готовы использовать всё; чем ему хуже, тем больше нажимают, мучают, издеваются. До сих пор, по-видимому, завещания даже не имеет, а ради одних сестёр должен бы его сделать, дабы не вырвали, что им принадлежит.

Сердце разрывается, думая об этом, – прибавил обозный. – Я, когда начну всё взвешивать и угадывать будущее, прибегаю к молитве – такой страх меня охватывает.

Белинский взял его за руку.

– Думаете, что со мной лучше? – воскликнул он. – Нет, по-видимому, в этом нашем королевстве ни одного честного человека, который бы не страдал, как мы. Как в улье, когда не хватает матки, что предпримет рой? Так и с нами. Не хватает нам короля и королевской семьи, хотя сейчас больно на неё смотреть; что теперь станется с этим нашим государством? С одной стороны подкарауливает царь Московский, с другой – император немецкий, который уже взял Венгрию и Чехию, и на Польшу точит зубы. Не считаю турок и татар. Как мы оборонимся без вождя и главы? Что тогда станет с нашими от веков добытыми правами и свободами? Разве чужеземцы их уважают? Чем более сильного мы выберем для безопасности от неприятеля, тем для нас он более грозным будет, потому что ему наши свободы будут солью в глазах.

Многие также сейчас думают, что французского королевича, о котором истории ходят, что и он старается о короне, взять было бы наиболее безопасно, – отпарировал Карвицкий. – Только снова те, что лучше имеют сведения, говорят, что он молокосос и неженка... а наша королевна, на которой он должен бы жениться, матерью ему быть могла бы.

Белинский покачал головой.

– Я не государственный муж, – сказал он, – а много надеюсь на Божью милость и вдохновение святого Духа.

– Если бы мы их заслужили, – докончил обозный.

– Беда! – прервал Белинский.

– А ну, беда! – повторил за ним Карвицкий.

Между тем на дворе понемногу темнело, а под галереями была почти ночь. В замке мало где показывался огонёк, движение прекращалось, вокруг расстилалась глубокая тишина.

Вдалеке, словно голоса надежды, из кустов сада над Вислой, с реки слышалось соловьиное пенье, к которому, оба сидящих молча долго прислушивались.

Ротмистр Белинский встал.

– Время на отдых, – сказал он. – Пришёл только в замок узнать, не понадобился ли я королю, так как он приказал быть готовым.

– Весь этот день он жестоко страдал, – сказал Карвицкий. – Доктора рекомендовали путешествие и не решили ничего.

– Но из Варшавы он должен прочь ехать, – прервал ротмистр, – потому что чумной город, это как во время пожара хранилище со соломой... загнездится смерть надолго. Мы должны спасти короля.

– Несомненно! Но куда же с ним? – спросил обозный.

Белинский думал, не зная, что ответить.

Они так стояли ещё в тени, когда от ворот, которые вели на другой замковый двор поменьше, послышался какой-то шум.

Обозный посмотрел и, не говоря, ткнул пальцем ротмистру, показывая ему на ту часть галерей, которая коридорами вела в комнату больного короля.

Вечернее зарево позволяло в сумраке различить фигуры, которые через отворённую дверь потихоньку проникали в замок. Их было три.

Впереди шёл мужчина высокого роста, прикрытый итальянским плащом, накинутым на спину, в шляпе с перьями. Тут же за ним, с головой полностью укрытой рантухом, двигалась небольшая фигурка, которая могла быть женщиной, судя по походке и движениям; за ними шествовал мальчик, худой подросток.

Они шли тихо, на цыпочках, осторожно, оглядываясь, прошли через двор, добрались до галерей и в дверях, ведущих к комнатам короля, исчезли.

Ротмистр всматривался с интересом, казалось, он ждал объяснений от обозного, который молчал до тех пор, пока проходящие не удалились вглубь коридора.

– Король лежит больной, – сказал он, – а это ему или какую колдунью, или одного из тех «соколов» привели, о которых он сам теперь рассказывает потихоньку, что они его погубили.

Дивная и очень странная вещь, – добавил, вздыхая, Карвицкий, – он сам ясно видит, что гибнет, знает, что ему эти женщины сокращают жизнь, а сопротивляться искушению не может.

Фогельведер и Руппер прописывают ему аптечные лекарства; вечером старую бабу волшебницу, знахарку приводят, та его окуривает, омывает, заговаривает, мучает... может, травит! Едва избавился от ведьмы, бежит Бася Гижанка, рассказывая о доченьке, дабы у него, пока есть время, что-нибудь содрать, хотя достаточно уже имеет, чтобы себе мужа купить.

Обозный отчаянно заломил руки.

– Конец света!

– Ради Бога, – подхватил ротмистр, – для чего же господа сенаторы, королевская Рада! Они должны его взять в опеку. Что же ксендз-подканцлер?

Услышав об этом, обозный начал гневаться.

– Ксендз-подканцлер! О себе думает, не о пане, – проворчал он. – Умел он сдерживать королевский ум, но только тем, что поощряет страсти и сквозь пальцы смотрит на них.

– Дрожь по мне проходит, – воскликнул Белинский, – когда вас слушаю. Я думал, идя сюда, что какое утешение вынесу, а вы мне, словно саваном весь мир облачили.

– Чем поможет забавляться напрасными надеждами, когда над головой висит меч, – отпарировал Карвицкий.

– Ну, но на сегодня, пожалуй, этого достаточно, – прервал, обнимая друга, ротмистр. – Мы верим в Бога! Мне не хочется верить, чтобы Он хотел нас так жестоко покарать и выдать на жертву врагам.

– Врагам, – подхватил обозный, – милый ротмистр. – От врага мы бы оборонились, но мы сами себе есть наихудшие враги.

Белинский, затыкая уши, слушать уже не хотел.

– Довольно! Довольно! Челом, пане обозный.

– Челом, мой старый!

Они молча обнялись.

Карвицкий, словно ему было трудно отпустить приятеля, не спеша сопровождал его даже до ворот, но молчал уже, идя с опущенной головой.

Ротмистр Белинский отворил дверку в воротах, пожал ему руку и пошёл живо к городу. Постояв немного времени, Карвицкий, вернулся назад к замку, но, не садясь уже на лавку, направился вглубь двора к внутренним воротам и собирался войти на лестницу рядом с ними, приделанную снаружи стены, когда дверка в воротах отворилась и в ней показалась женская фигура, которую вдалеке сопровождал вооружённый мужчина.

Заметив Карвицкого, женщина хотела быстро повернуть назад, но скоро узнав его, спешно вернулась и, тихо шикнув, смело к нему подошла.

Лица женщины, прикрытой с ног до головы тёмной плахтой, различить было невозможно, но под этим покрывалом, небрежно наброшенным, чувствовалась ловкая и гибкая фигура и зазвенел голос серебряный и молодой:

– Обозный!

– Дося! – сказал Карвицкий.

– А кто бы, если не я! – ответила живо прибывающая. – Если бы не честный старый Жегота, не решилась бы с одного замкового двора на другой одна ночью, потому что и в королевском замке безопасности нет... но Жегота взял меня в опеку, а принцесса...

– С чем же ты пришла от принцессы? – спросил, подходя, Карвицкий.

– С чем пришла? – ответила женщина с оттенком насмешки. – Спроси лучше – зачем? Потому что от нас нечего приносить, слёзы, пожалуй. Принцесса, бедняжка, беспокойная, вы не упомянули королю о ней?

– Не было доступа к нему, – произнёс грустно Карвицкий.

Женщина в отчаянии задвигалась.

– А! Мой Боже! Мой Боже! – начала она жаловаться. – Король о ней забыл, а у вас всего хватает. На ужин было необходимо выпросить у купцов без денег, потому что заплатить не имеет чем. Принцесса охотно остаток серебра оставила бы, но тут на нас столько глаз смотрит, для чести королевского дома не годится поэтому волю голодом умертвить. Никто над нами милости не имеет. Чем провинилась эта бедная наша принцесса, что король ей братом и отцом, и опекуном, как должен, быть не хочет, что врагом стал?

– А! Не говорите этого, – прервал вдруг Карвицкий. – Не годится. Сердца для сестры он не потерял, злые люди только сделали, что предубеждение к ней имеет.

– Принцесса должна иметь предубеждение к нему гораздо большее, потому что ей вред делался и делается, – воскликнула женщина-посол. – Вокруг говорят, что король из-за чумной эпидемии выедет из Варшавы, что же в это время будет с нами? Нас также невозможно отдать на жертву заразе; а в чём же мы будем отбывать путешествие и где спрячемся?

– Терпение! Подождите же! – воскликнул Карвицкий. – Ни сегодня, ни завтра король не выедет. Прежде чем это наступит, очень торжественно клянусь: мы его склоним к свиданию и примирению с принцессой.

– И приведению в порядок её нужд, – добавила живо женщина. – Для нас уже и чумы не нужно, подохнем скоро с голоду.

Обозный как будто улыбнулся.

– Что же? Думаете, что я по-женски из мухи делаю верблюда? – ответила прибывшая. – Спросите других, как у нас. Хуже бы не могло быть, когда бы королева дочкой простого землевладельца была, а это всё-таки королевский ребёнок, сестра короля и королев. Боже мой!

Грустный, обеспокоенный, молчал Карвицкий.

– А! Моя Дося, – проговорил он, – я это всё знаю. От души бы рад помочь, не я один, Жалинский также, Фогельведер, но к королю подступить трудно и говорить с ним один на один. Разговаривать при этих трутнях, значило бы портить дело.

Женщина ломала руки.

– А! Мы уже долго ожидаем этой милости! – вздохнула она.

Обозный нетерпеливо тёр лицо.

– Если бы вы знали, как мне трудно было к вам идти, с каким страхом я сюда прибежала, – говорила она дальше, – а ну, я должна была, ибо никто другой не мог, не хотел. Принцесса также, может быть, не рада кому попало довериться со своей нуждой. Покрывает её, как может, чтобы люди над ней не подшучивали.

У меня отваги хватает, хотя бы от отчаяния, когда смотрю на принцессу, мою госпожу, благодетельницу, я бы пошла уж хоть и без Жеготы!

– Ну, ну! – отпарировал Карвицкий. – Одна так не вырывайся! В городе, вокруг замка и в замке разных людей, бродяг, достаточно, под ночь беды легко напроситься.

Он поглядел на небо.

– Возвращайся же, возвращайся, – сказал он.

– С чем? – спросила женщина.

– С тем, что завтра или я, или Жалинский скажем королю, напомним о принцессе и склоним его к согласию.

– К согласию! – повторила тихо ожидающая. – К согласию! Боже милосердный! Мог ли кто предвидеть, что между братом и сестрой может быть раздор, и от чего?

– Ну, доброй ночи и счастливой дороги! – замкнул ей уста обозный.

– До завтра! – закончила упрямая девушка, не двигаясь с места. – Потому что я приду завтра и до тех пор ходить буду, пока что-нибудь не выколочу.

– До завтра! – повторил обозный, который приблизился к дверке в воротах, отворил её и, выпустив женщину, быстро за ней закрыл.

Он посмотрел вверх на замковые окна. В эту стороны выходили королевские комнаты.

В двух окнах через наполовину прозрачные шторы слабо пробивался красноватый свет. Иногда какие-то тени по ним проскальзывали.

В этих комнатах покоился на ложе тоскующий и больной последний потомок мужского рода Ягеллонов – Сигизмунд Август. У изголовья его не любовь и привязанность, не верные сердцу и преданные люди смотрели, но жадные руки, остывшие груди, ненасытная жажда.

\* \* \*

Быстрым шагом от замковых ворот удалилась посланница на другой тихий двор, который окружали более старые и менее правильные здания. Тянулись тут стены главного строения, соединённые с ним, а между ними переходы лестницы, галерейки, своды свидетельствовали, что создали это гнездо века, а каждое поколение устилало его согласно нужде.

Смело шла посланница тёмными закоулками, а старый Жегота, держа в руке приготовленный меч, сопровождал её даже до отдельного дворика, который опоясывал одно здание. И тут были в стене ворота. Вооружённый страж постучал в них, впустил девушку и, не говоря ни слова, один пошёл дальше.

Навстречу возвращающейся Доси вышла немолодая женщина с фонарём в руке, немного сутулая, бедно одетая, с каким-то заплаканным и грустным лицом.

– Принцесса? – спросила Дося.

– Ложитесь спать, – прошептала старуха. – Снова этот глаз нарывал и голова её страшно болела. Жалинская положила матрасик с ромашкой, мы обвязали шафрановым платочком. Бог знает! Может полегчает ей. Ну, а король?

Дося покачиванием головы ответила двусмысленно, словно о нём не много что было говорить.

Задержались так обе во дворике, одна стена которого выходила в сторону Вислы и сада, а за ней видны были ветви зелёных деревьев и кустов.

В домике, перед которым они стояли, не было нигде света, он стоял чёрным со своими стенами, кое-где с ободранной штукатуркой.

– В комнатах у нас, если не холодно, то слишком душно, – сказала прибывшая Дося, – а тут весенний воздух такой милый, не хотелось бы в каморку, потому что и сон век не сомкнёт.

Пожилая женщина, которая заслоняла рукой фонарик, смотрела с интересом на свою спутницу; тихо шепнула:

– Кто его там знает, где теперь безопасней? Весенний воздух всегда малярию даёт, ну и чума идёт, человек боится даже дышать. Любой ветер принести может беду.

– А! Стыдись, Мацейева, – живо прервала её Дося. – Воздух! Воздух! Если бы это время чумы карой Господа Бога не было, без воли которого человеческий волос не упадёт с головы!.. Я чумы не боюсь! А прикажет Бог жизнь отдать – воля Его!

Старуха покрасневшими глазами с интересом, с уважением смотрела на девушку.

– А! Значит вы ничего не боитесь, никого не страшитесь, – прошептала она. – Но почти вся молодёжь такая смелая, пока их жизнь тревоги не научит. Не играй и ты, дабы не доигралась.

В эти минуты блеск фонаря упал на личико смелой девушки и всё чародейски осветил.

Свет ли сделал её такой красивой? Она стояла, слушая и смотря на старуху с таким выражением мужества и верой в Бога и в себя, а такой она с этим была героически красивой, что казалась какой-то неземной, выдуманном художником существом, явлением, которое, блеснув на мгновение, должно было исчезнуть, раствориться в сумерках.

– А! Какая ты красивая!

Дося услышала эти тихие слова, грустно опустила головку, её брови стянулись и она сказала с тоской:

– Господь Бог наказал меня этой красотой, на что она сдалась?

Старуха, вспомнив, что у неё фонарь, который она держала в руке, дунула на него и погасила.

– А Жалинская? – спросила девушка.

– Сидит при королевне, следя, не проснётся ли и не потребует ли чего.

Где же остальной двор?

– Разошлись, кто куда хотел или был должен, – говорила старуха. – Некоторые уже и храпеть должны.

– Иди же и ты спать, моя Мацейева, – закончила Дося. – Мне хочется ещё посидеть тут на лавке немного у двери и подышать свежим воздухом, в коморах мне как-то душно. Сон не берёт.

Послушная Мацейева, молча, с фонарём проскользнула потихоньку в дверь, а Дося, спустив с головы на плечи шаль, подошла к стене, нашла лавку и села на ней, заломив руки на коленях.

Тихая майская ночь, которая никогда даже в полночь слишком черной не бывает, усыпляла город и замок.

С каждой минутой молчание становилось более торжественным, долетающий издалека шум более редким и слабым.

Дося с глазами, обращёнными к небу, достала чётки и собиралась начать молиться, когда поблизости от неё из-за угла слышались шаги.

С неохотой и страхом она обратила взор в ту сторону, боялась, как бы какой-нибудь нахал не спугнул её из этого угла, в котором обещала себе отдохнуть.

Походка была медленной, по поступи можно было узнать мужчину.

Вскоре из-за угла вышел высокий, сильно и правильно сложенный, ловко двигающийся мужчина, укутанный наброшенной на плечи опончой, с головой, покрытой маленькой, с неохотой надетой магеркой. Неторопливым шагом он шёл вперёд, задумчивый.

Хотя распознать лица не было возможности, Дося, увидев его, сорвалась бежать, когда подходящий огляделся, узнал её и, снимая шапочку, тихо сказал:

– Не убегайте, барышня, я пойду прочь.

Голос был мягкий и симпатичный, Дося присела на лавку, бормоча:

– Всё-таки я должна идти, так как мне по ночам в разговоры вдаваться не пристало.

– Но я для порядка должен обойти вокруг, чтобы люди не распускались, – сказал, останавливаясь, мужчина.

Девушка не отвечала и были только слышны бисерки чёток, ударяющиеся друг о друга в её руках.

Мужчина стоял, уходить ему как-то не хотелось.

– Ни днём, ни вечером, никогда мне панна Дорота разговаривать с ней не позволяла! – вздохнул он. – А я так бы этого желал.

– По крайней мере ни сегодня и ни здесь время для разговора, – нетерпеливо и почти гневно ответила девушка. – Иди, пан, своей дорогой, а нет, тогда я буду вынуждена уйти.

– Иду уже, иду, – воскликнул мужчина, – но ради Христовых ран, когда я буду иметь счастье...

Девушка не дала ему закончить.

– А! Счастье! Что за счастье! Никогда! Никогда! – воскликнула она, надувшись, вскочила со скамейки, бросилась к двери и захлопнула её за собой.

Мужчина машинально поправил на голове шапочку, взял ус и покрутил его, пробормотал что-то и не спеша пошёл дальше осматривать двор и окружающие его конюшни и сараи.

Так неторопливо он шёл, внимательно прислушиваясь, между зданиями, попробовал кое-где двери и ворота, заглянул в наполовину открытые каморки, из которых доходил до него храп и, сделав круг вокруг зданий, другой стороной сзади вошёл в главный корпус через тёмные сени, направляясь к коморе, в которой был свет.

Хотя тепло уже было на дворе, тут в камине горел ещё догорающий огонь, не для обогрева комнаты, но для очищения влажного воздуха и для света зажжённый.

Комната была довольно просторная, сводчатая, чистая, свежесмытая, с полом, посыпанным аиром и еловыми ветками, аромат которых в ней чувствовался. Два тарчана стояли у двух её противоположных стен, а простой стол между ними посерединке. По углам, словно в дорожной гостинице, видны были ящики и узелки, упряжи, сёдла и войлоки, набросанные в кучу.

На столе лежал потухший фонарь, а блеск догорающего огня временами освещал комору, похожую на какую-то монастырскую комнату.

На одном из тарчанов, покрытый опончой, лежал человек, свернувшись в клубок, который, услышав скрип двери, поднял наполовину лысую голову с огромными усами, с отвислыми щеками и уставшими впалыми глазами.

Увидев входящего, уже перевернувшись на другой бок, хотел он заснуть, когда услышал вырывающийся из его груди тяжкий вздох. Он зевнул, поднялся, потянулся, протёр глаза, сплюнул и сел на ложе.

– Мосци Талвош, ты только вздыхаешь и вздыхаешь, грудь себе портишь, зачем тебе это случилось?

– Ты думаешь, мой милый Бобола, что я это по доброй воли делаю? – ответил пришедший, который, сбросив опончу и шапочку на свой тарчан, подошёл к огню с тем чтобы его поправить, и показался молодым и пригожим, человеком храброго выражения лица.

– Где же ты снова, чёрт возьми, бродил ночью? – спросил Бобола, зевая. – Имеешь какую-нибудь информацию? Разузнал что-нибудь?

– Только то, что навестил Досю, которая, отругав меня, убежала, – сказал молодой Талвош. – Я обошёл сараи и конюшни, потому что сейчас никому верить нельзя, всё распрягается.

Говоря это, когда ещё раз вздохнул, Бобола гневно сплюнул.

– Панна Дорота тебе в голову заехала! – сказал он. – Ты разума не имеешь! Время ли об аморах думать, когда такая беда вокруг и, скорее, к смерти готовиться нужно, потому что нас тут более, более всех чума удушит в этих стенах.

– Пускай бы уж, пускай! – отчаянно махая рукой, ответил Талвош. – Мне, друг мой, опротивела жизнь.

– Из-за одной женщины! – воскликнул с возмущением старый Бобола. – Но, стыдился бы. Всё-таки пану Талвошу не порядок, шляхтичу хорошего рода, об ином будущем и карьере думать бы годилось, а не мир себе спутывать одной такой кобылицей, у которой только то что личико красное.

– Ей-богу, Бобола, – прервал юноша, – заклинаю тебя, ничего мне против неё не говори! Клянусь жизнью, другой такой, пожалуй, нет на свете!

Сидящий на ложе, сгорбленный, сонный Бобола, который обеими руками держался за край тарчана, медленно поднял глаза на товарища. Смотрел, смотрел и делал мину, выражающую сожаление, словно хотел сказать: «Жаль мне тебя, бедняга! Уже до этого дошло?»

– Слушай, Талвош, – отозвался он громко, – до сих пор я считал, что ты так мимоходом увлёкся ею, как это ежедневно с молодыми случается, а на завтра, когда тебя принцесса в Литву отправит, выветрится у тебя из головы, но ты действительно с ума сходишь.

– А! Правда, правда! – подтвердил Талвош, который сел у огня на низкой скамейке. – Говори что хочешь, мой конюший, ругай меня, когда воля, другой Доси, равной ей, не было и не будет.

– Красота, разум, остроумие, нечего говорить, – воскликнул Бобола, – приходит другое, что правда – правда. Но я в девушке той смелости, той самоуверенности, того рвения вперёд не люблю. На казака выглядит.

Талвош покачал головой.

– Женщина рыцарского духа, – воскликнул он с восторгом.

– Молодой девушке этот дух не пристал, – сурово ответил Бобола.

– Теперешнее время и женщинам сердце растит, так нас беда унизила, а мы одряхлели, – начал Талвош.

Но послушай, Бобола, хорошо, что мы об этом заговорили. Ты уже проспался, а мне вовсе спать не хочется. Ты столько раз обещал мне об этой Доси реляцию. Я, не так давно прибывший на двор, знаю только то, что её воспитала принцесса, что она её любит, а она за неё свою девичью жизнь отдать готова. Но откуда же она? Что она?

Бобола, не вставая с ложа, только привёл себя в порядок и сел поудобнее.

– Правдой и Богом, – начал он, – я против неё ничего не имею, но мне жаль тебя, потому что ты действительно думаешь о ней, а она, хотя бы красивой и добродушной была, жёнкой никому не захочет быть.

У нас жена, правда, должна иметь мужество и разум, быть хозяйственной, а мы постоянно бродим по свету, она за нас и за себя гнёзда должна стеречь и о спокойном духе в себе заботиться. Всё на наших жёнах, но в доме. Этой дома будет мало. Шляхтич у себя на деревне – гость. Как не на посполитое рушение<sup>1</sup>, то на комиссии, на депутации, на съезды, на службу идти должны. Пока имеет силы вынуть саблю, с коня не слезет.

Поэтому жена вокруг дома, вокруг земли, вокруг хозяйства и в сад, и к работнику должна идти и за мужа, и за себя, и в танец, и на молитвы.

Талвоц не перечил и не отвечал.

– Думаешь, что твоя Дося на деревенском дворе выдержит? – прибавил Бобола.

– Она? – вырвалось у Талвоца. – Она сделает из себя что хочет! Но оставь в покое, не о том речь. Ты обещал мне о ней что-то больше поведать, чем я знаю, будь милостив.

Бобола потёр голову.

– Если бы тебя это могло вылечить от этой абсурдной любви! – вздохнул он. – То, о чём я знаю, почему бы тебе не поведать? Никто меня о тайне не просил.

Знаете нашу принцессу Анну? Она имеет золотое сердце, а счастья для людей ни на грош. Красивой была и сейчас ещё не уродлива, а вот ей уже пятидесятый, по-моему, годик доходит, никто почти о ней не старался. Другие, моложе её, повыходили замуж. О той никто не доведалься. Король наш Август судьбой её не занялся, она о себе не заботилась.

– К судьбе Екатерины, королевы шведской, она по-видимому, зависти не имеет, – прервал Талвоц, – та чуть ли ни до смерти измучилась, прежде чем дошла через тяжкие злоключения до царства. И чуть за московского царя не выдал её этот безумный Эрик.

– Но, однако, сейчас правит, – ответил Бобола. – София также вышла не хуже за Брунсвицкого, о других не говорю, эта осталась в корзине. Если бы брат её, сироту, любил больше, сегодня пришлось бы к тому, что, рассердившись на эту Заячковскую, говорить бы с ней не хотел.

– Но какое же это имеет отношение к Доси? – спросил Талвоц.

– Ну, подожди, это есть *exordium*<sup>2</sup>, – говорил спокойно Бобола. – У нашей принцессы, будто бы это для услуги, а на самом деле, взятых из-за сострадания, всегда сирот и воспитанниц бывало достаточно, она их поддерживала, учить велела и оснащала приданым. Впрочем, и эта Заячковская... но оставим её в покое.

Вот были мы, я помню, в Кракове, лет тому не помню сколько, будет около девяти, может, когда, однажды придя из города, старая Закревская, которая в то время была охмистриной при фрауцимер, говорит принцессе:

– Там в городе чудесного ребёнка, девочку, видела, хоть рисовать. Хотя ангелочек красивый, но раздетый, в лохмотьях, сжался Боже, как нездорово выглядит. Шляхтич её туда привёз, из милосердия взяв у отбитых татарских пленников. Никто не хотел её признать. Я рада бы её кому отдать, но никто не отзывался.

Она посмотрела на принцессу, которая немедленно ответила:

– Прикажите этого шляхтича с ребёнком позвать в замок.

Закревская, тоже женщина милосердного сердца, скоро выпихнула слугу в город. Быть может, через час пришли принцессе объявить, что шляхтич с ребёнком стоит в приёмной.

Мы все выбежали смотреть, потому что повествование нас заинтриговало.

Ребёнок, истощённый, покрытый синяками, был очень несчастен, мог иметь лет около десяти. Но несмотря на убожество и грязь, он имел такое красивое личико, что плакать хотелось над тем, что это милое создание должно было вытерпеть.

---

<sup>1</sup> Всеобщее ополчение.

<sup>2</sup> Вступление (*лат.*)



Шляхтич, который взял её наполовину нагой, не имел даже чем покрыть, поэтому она была одета в простые и старые лохмотья, завёрнута в разрезанную опончу, которой по пояс ей хватило.

Принцесса спросила, откуда он её взял.

Он начал рассказывать, что недавно у татар над Тикичем отбили пленников, а среди них находилась и эта сиротка. Догадались из того, что ребёнок рассказывал сам о себе, и из других фактов, что была она дочкой Сохи-Заглобы, которых там два брата, покинув Мазовию, осели на границах.

У этого одного Сохи-Заглобы татары сожгли двор, убили жену, его пытали в неволе, а о ребёнке думали, что его встретила та же самая участь.

Когда позднее отбили в степи пленников, девочка нашлась в татарских руках. Она помнила о себе, что её звали Досей, что в деревне Мхове жили родители, и имела какой-то деревянный крестик на верёвочке на шею.

Рядом с Мховом, в другом поселении, брат того Сохи-Заглобы остался в живых, вовремя сбежав, но когда привели к нему племянницу, ни признать, ни знать её вовсе не хотел, хотя же после брата приобрёл Мхов. Деревянный крестик, который был у неё на шее, именно служил ему доказательством, что она, очевидно, была холопкой, когда распятие киевской работы на груди носила.

Шляхтич, который от того дяди ожидал награды, оборвал спор и, не зная, что делать с сиротой, привёз её сперва во Львов, потом в Краков, рад бы отделаться от неё, потому что не был женат, не имел ни дома, ни лома, а сам службу искал.

Принцесса не приняла никакого решения, приказала дать ему несколько золотых червонцев, а Закревской взять дитя. Её помыли, накормили, а принцесса Анна очень полюбила воспитанницу.

Когда бедняга ожила, её спросили о прошлом, о неволе, но она была настолько утомлённой, больной, прибитой жестоким обхождением, что мало что сохранила.

Она говорила только, что запомнила своё имя, Дося, и что родители её жили в какой-то деревне, которую описывали по-своему.

Из этих запутанных детских воспоминаний мало что можно было вытянуть, даже ту очень неопределённую вещь, была ли она в действительности дочкой того Сохи-Заглобы, но её здесь приняли и назвали Доротой Заглобянкой.

Когда эта бедняжка потом ожила, она почти чудесно расти, хорошеть и развиваться начала так, что принцесса ею нарадоваться не могла. Пошли от этого великие нежности и излишние угождения.

Захотелось девушке учиться, принцесса сама научила её итальянскому языку, француз, который в то время был садовником, французскому, а затем на восхищение кс. Медведки приступил к латыни.

На что это всё сдалось? Пожалуй, чтобы в её голове перевернулось.

Зная столько языков, она потребовала немецкого, принцесса постаралась для неё о немке. Ещё счастье, что турецкому и татарскому не захотела учиться, потому что и в этом ей бы не отказали. А из татарского языка, я слышал, до сих пор кое-что помнит.

Пишет так красиво, что могла бы в канцелярии служить.

Как же потом не могла она стать гордой и набраться высокомерия, когда все начали ей удивляться, хвалить её разум и красоту притом?

Татары так же, потчuya её кумысом, влили в неё такую дикую кровь, что её обуздать трудно.

Вот такая она сейчас. Заглобянка! Дворянка! Но дядя её знать не хотел, наверно, не без причины. Кто знает, что она? Несомненно только то, что Дося...

– Ну и то, – добавил Талвоц, – что другой такой Заглобянки или Доси нет на свете. Отбросьте то, что её возвышает над другими. Что удивительного! Пусть же другая справится с тем, с чем она справляется? Всё же плохого ничего вы на неё возложить не можете?

– Для себя наихудшая, – говорил дальше спокойно Бобола. – О своём будущем совсем не заботится. За принцессу жизнь готова отдать, но рвётся не к своим делам, даже наша пани обуздать её не может.

– За то её осуждать нельзя, – ответил Талвоц, – что привязалась и хочет показать благодарность. Тут все потеряли головы, принцесса плачет только и жалуется – эта одна ни отваги не теряет, ни минуты не отдыхает.

– А для чего это случилось? – спросил Бобола. – Летаёт, бегает, везде лезет, но что же может сделать? Рекомендовалась на посла, готова в самый сильный огонь, и ничего ей не сделается, только люди ей удивляются и подчас высмеивают.

– Мой милый Бобола, – начал Талвоц после минутки раздумья, – если ты хотел отнять у меня немного сердца к ней, то, пожалуй, прибавил. Достигнет она что-нибудь или нет – не в этом дело; восхищаться нужно и мужеством и умом, и благодарностью к принцессе.

– И безумием, – добросил Бобола. – Оцени сам. Девушка красива как ангел, восхищает глаз, знает об этом и красотой этой пользуется. Выйдет целой, а люди всегда болтать будут.

– Найдётся кому за неё заступиться, – забормотал Талвоц.

– Так же, как сегодня вечером, – говорил дальше Бобола, – одна пошла к обозному в замок к королю, где люд распушенный. Где это кто слышал? Но она не боится никого. Епископ, сенатор, солдаты, толпа, чернь ни поколеблется, ни дрогнет.

– А всё это делает для принцессы, – прервал Талвоц, – потому что сама она ни в ком не нуждается и даже приблизиться к себе не даёт. Скажи, Бобола, разве не прекрасна эта благодарность?

– Вроде бы прекрасна, но неразумна и без пользы, – сказал Бобола и рассмеялся. – Что хочешь? Я готов назвать её героиней, но, собственно, по этой причине для роли жены не создана, а ты без меры влюбляешься и голову теряешь.

Талвоц замолк, но вовсе не показывал, что был убеждён.

– Теперь, – промолвил он через какое-то время, – позволь мне слово речь. Люблю ли я её или нет – это моя вещь, но у меня есть для принцессы тот же сантимент, что и у неё.

Разве не разрывается сердце, смотря на эту несчастную женщину? Ребёнок такого рода, дочка королей, внучка, правнучка, сестра королей и королев, сейчас сирота, покинутая, одинокая, настолько бедная, что для кусочка хлеба вынуждена серебро тайно давать в залог. Разве это не ужасно – думать о её судьбе!

Когда на кого-нибудь из нас, бедняков, обычных людей, падает такое несчастье – это ещё что! Но это ребёнок помазанников Божьих. В таком сиротстве, под такой тяжёлой долей! Не должны ли мы все защищать её, а хотя бы умереть за неё!

– Ты сильный! – прервал Бобола. – Мы! Мы! А что же можем, хоть бы и погибли?

– Э! Э! – вырвалось у Талвоца. – Мы! Мы! Мы всё-таки шляхта и в этом королевстве что-то значим. Ни ты, ни я ничего не сделаем, но нужно будить и призывать. Паны сенаторы ключи держат, у нас есть кулак.

– О хо! Хо! – крикнул Бобола. – Далеко идёшь! Плети только так, плети, и принцессе послужишь и себе.

– Не может быть, чтобы справедливости не было на свете! – воскликнул разгорячённый Талвоц.

– Мы ждём её!

– А тем временем принцесса Анна без поддержки пусть умирает с голоду и со стыда, что её презирают! – выкрикнул Талвоц. – Что же тут удивляться, что девушка голову теряет, глядя на это! Мои внутренности тоже разрушаются.

Талвоц вскочил и, живо бегая по комнате, начал:

– Нужно совещаться, ничего не поможет.

Бобола иронично улыбнулся.

– Если бы ксендз-подканцлер Красинский вызвал на совет, – сказал он, – было бы неплохо, но я сомневаюсь, чтобы это пришло ему на ум.

Талвоц стоял понуро задумчивый.

– Смотри же, – отозвался он, как бы шуточки Боболы не услышал, – в любой день больного короля отсюда вывезут в Тыкоцин или Кнышин, Бог его знает, что же в это время станется с принцессой? Оставаться в Варшаве, когда эпидемия сюда или уже пришла, или завтра придёт, невозможно, потому что на ней смертный приговор. Куда же мы выедем и на чём?

– Не знаю, – ответил Бобола, – но мне видится, что ни ты, ни я, ни прекрасная Дося Заглобянка, хотя бы летала к пану Карвицкому, к Жалинскому, даже к подчашему, ничего не сделаем. На это нужно больше силы. Следовательно, зачем рваться?

Талвоц, сомневающийся, что убедил бы товарища, вздохнул всей грудью и бросился с великой быстротой на свой тарчан.

Бобола не спеша встал, пошёл налить себе жбан воды, напился, вытер усы и, ничего не говоря, лёг также в постель.

Огонь в комнате, словно этого ждал, полностью погас и только малиновые угли из-под пепла светились как рубины.

\* \* \*

Когда, встав с утра, Талвоц оделся и вышел осмотреть двор, нашёл ещё более раннюю, чем он, Досю Заглобянку, уже стоящую на пороге за разговором с охмистриной и старой служанкой принцессы, Жалинской.

Обе шептались, имея такие грустные лица, что Талвоцу пришло в голову спросить, не случилось ли что-нибудь плохое?

Дося Заглобянка была вся одета в чёрное, но в этой грустной одежде так чудесно красива, что её никто за слугу бы не принял.

Только днём эта красота, о которой вчера разглагольствовали Бобола с Талвоцем, показала во всём своём великолепии.

Черноволосая, черноокая, с белым, но с каким-то бронзовым оттенком, лицом, свежая, черты имела чрезвычайной чистоты и великого обаяния, хотя что-то в них почти мужское, смелое, дивное в такой молодой девушке поражало.

Она была гордой и вызывающей, словно неустанно была вынуждена защищаться.

Всегда красивое личико под натиском мысли и чувств менялось каждое мгновение и было в постоянном движении, то проясняясь, то непременно хмурясь.

Фигура, пышные волосы, ручки и ножки – всё отвечало облику.

Она казалась какой-то переодетой княгиней – такую выдающуюся аристократическую внешность она имела, хотя же не старалась о ней.

Талвоц, на которого она произвела впечатление какого-то избранного существа, стоял при ней покорный и несмелый, хотя обычно энергии ему хватало.

Охмистрина Жалинская, издавна при принцессе Анне будучи в услужении, была одной из тех долгим послушанием испорченных служанок, которые верховодят и чудят, больше о себе, чем о пани думают, мало на что способны, а много стоят. Принцесса Анна соглашалась с ней из благодарности и привычки, даже боялась, давала себя критиковать и ругать и всё от неё принимала. Она, муж, сын больше управляли двором, чем следовало, а своей верностью и привязанностью постоянно бросались в глаза.

Они с Заглобянкой потихоньку разговаривали, наклонившись друг к дружке, чем-то сильно занятые и встревоженные; Жалинская, как всегда, жаловалась на принцессу, Дося её защищала, когда подошёл к ним с вопросом Талвоц.

– Нет ли что нового, в чём нужно помочь? Не могу я чем-нибудь служить?

Жалинская согнулась, смотря на него искоса.

– Нового ничего нет, – сказала она кисло, – и старая беда достаточно докучает, мы все теряем головы, а принцесса над собой и над нами милосердия не имеет, чудачит и плачет, и плачет... День начинается слезами, вечером оканчивает его плачем.

– Я возвращаюсь из замка, от обозного, – добавила Дося, не смотря на Талвоца, – королю и сейчас всё хуже, ни доктора, ни ведьмы ничего не могут, а о свидании с сестрой слушать не хочет.

– Ради Христовых ран, – прервала Жалинская резко, заламывая руки, – не может этого быть! Он должен с ней увидиться, примириться, обдумать что-нибудь для неё. Нечего снова так тревожиться, как принцесса, а вы ей страха добавляете, когда её нужно упрекнуть и успокоить.

Не докончив, охмистрина нахмурилась.

– Не нам следует упрекать! – сказал Талвоц. – Но если необходимо что-нибудь сделать, скажите мне, куда идти, буду просить, достучусь хотя бы до самого короля.

Дося взглянула на него только теперь.

– Подождём, что прикажет принцесса, – сказала она.

Все трое замолчали, а Жалинская бормотала что-то сама себе, когда вдруг в одно из окон изнутри начали стучать, и Талвоц увидел за стёклами белую руку, которая давала ему знаки.

– Сдаётся, что меня зовёт принцесса, – проговорил он.

Жалинская и Дося ушли, а Талвоц спешным шагом вошёл в сени и направился налево в приёмную, двери которой были отворены в другие комнаты.

В первой из них ждала его принцесса Анна.

Здесь она обычно принимала немногих своих посетителей и ничто не позволяло предполагать о жилище дочери и сестры королей – такой скромной и бедной была комната. Она едва пристала бы более богатому мещанину.

Обивки на стенах не было никакой, затемнённые и низкие своды давали ей особенность монастырскую и мрачную, свинцовые окна с давно нечищеными стёклами скупно пропускали свет. Стол, стоящий посередине, покрывал потёртый и обесцветившийся коврик. Несколько тяжёлых стульев, скамейки под стенами, бедно покрытые, а за всё украшение в глубине вид алтарика, на котором стояло распятие и две вазочки с цветами – это было всё.

Анна Ягеллонка в чёрном со сборками платье, как бы напоминающем монашеское, с цепочкой на шее, на которой был золотой крестик, с открытой головой, на которую была наброшена кружевная прозрачная вуаль, связанная под подбородком, держа в руке белый платочек, ждала в центре комнаты Талвоца.

Несмотря на глаза, уставшие от слёз, и бледное лицо, она имела ещё остаток молодости и о годах, которых достигла, догадаться было невозможно. Выражение большой подавленной боли делало её ещё более симпатичной.

В этом облике, утомлённом жизнью, надеждами и отчаянием, желаниями и унижениями, жертвами и неблагодарностью, столько связывалось друг с другом разных знаков прошлого и настоящего, что трудно было угадать соответствующий ей характер. Энергия и сомнение, слабость и сила словно потоками горячки и холода протекали по лицу.

Нетерпеливую дрожь заметил Талвоц, приближаясь к ней с почтением.

Она едва дала ему поклониться.

– А! Мой Талвоц! – сказала она взволнованным голосом, в котором было чуть подавленное рыдание. – Мой Талвоц! Советуй и спасай, не имею никого. Что тут предпринять, король всё хуже.

– Милостивая пани, – прервал Талвоц живо, не желая ей дать разжалобить себя, – я уверен, что там у его величества короля панна Дорота через обозного, что могла сделать, то сделала как можно лучше. Я знаю, что обещали следить, дабы о вашем королевском высочестве он не забыл. Не может того быть, в любую минуту мы получим известие.

– Но прежде чем это наступит, – сказала принцесса, понижая голос, – мой Талвоц, на содержание моего щуплого двора, хоть экономлю, ничего не имею. Никто о моих нуждах не думает. Я для себя не требую много, готова поститься на хлебе и воде, видит Бог, но мне стыдно за людей... из-за этого достоинства королевской дочки, королевской сестры, которое я должна нести.

Она подошла на несколько шагов к Талвоцу и огляделась вокруг.

– Скрывать от вас нет необходимости, – добавила она, – вы – верный наш слуга.

– И жизнь готов отдать, чтобы это доказать, – горячо воскликнул Талвоц.

– У людей на веру брать не могу, а у меня уже во всём доме одного талера не имеется, – начала Ягеллонка. – Занять не вижу у кого, просить не научилась, нужно тайно часть серебра заложить, но никто, никто на свете знать не должен, что оно моё.

Когда она это говорила, её голос дрожал, глаза наполнились слезами. Талвоц стоял подавленный, с глазами, уставленными в пол.

– Иди за мной, – промолвила принцесса.

Послушный литвин грустно потащился за принцессой, которая быстрым шагом направлялась к дверям, ведущими в глубину, и, ведя его за собой, дошла до маленьких закрытых дверей, углублённых в стене спальни. Она отворила их ключом, вынутым из кармана, и по двум лестницам ввела Талвоца в очень щуплую каморку с одним зарешечённым сверху оконцем.

Комнатка была пустой и только на её каменном полу, на кусочке разостланной ткани, были видны разбросанные в беспорядке серебряные миски, кубки, кувшины, наливки и чаши. Как если бы их какая-то беспокойная рука перебирала, были разделены на кучки, перевёрнуты, разбросаны. Этого уже было не много.

Принцесса, войдя на порог, стояла, заломив руки, задумчивая.

– Это остатки! – сказала она Талвоцу. – И по большей части памятки лучших времён, напоминающие разные лета жизни. На некоторых из них знаки и гербы показывают происхождение, к этим прикасаться нельзя... другие...

И, не кончая, она закрыла свои глаза. Талвоц, желая облегчить принцессе боль, нагнулся к этим сосудам.

– Выбери, мой Талвоц, из того, что справа, – отозвалась Анна, – возьми как можно меньше, а принеси как можно больше, но не продавай ничего. Избавиться не могу. Отдай в верные руки, чтобы не пропало, выкуплю, как только смогу... но сейчас, прежде чем сестра моя Брунвицкая что-то соблаговолит отправить, прежде чем дождусь от Чарнковского, прежде чем король смилостивится, голодом людей морить не могу и выпроводить их всех не годится мне.

Талвоц, опустившись на колени, на полу то перебирал руками миски и кувшины, то отступал, жаль ему было прикасаться к этим памяткам.

Принцесса, опершись о дверь, не смотрела уже на него. Через минуту только она шепнула:

– Спешу, покажешь мне, что выберешь. В углу найдёшь ты кусочек сукна. Оберни, дабы никто не видел. А! Стыд мне великий.

– Милостивая пани, – отозвался наконец Талвоц, – тем бы нужно устыдиться, что вас к этому привели. Пойду сейчас в город, евреев боюсь, найду, может, честного мещанина.

– Согласна, прошу, чтобы не пропали, – прибавила принцесса дрожащим голосом.

Жалость схватила её за сердце, когда увидела Талвоца, обёртывающего несколько мисок и кубков, и не выдержала:

– А! Заячковой, которую я приняла почти без рубашки, ни в чём сегодня себе не отказывает в Витове.

Плач не дал ей говорить. Талвоц, поспешно завернув серебро, стоял, уже готовый уйти.

– Референдарий Чарнковский, наверно, прибудет, – сказал он, желая добавить отваги беспокойной, – пусть ваша милость не страшится за будущее, о серебре живая душа знать не будет. В любую минуту с королём также, наверно, можно будет увидеться, а он должен обеспечить вас.

– Дай-то Боже, ибо силы исчерпываются, – шепнула, вытирая глаза, принцесса. – Иди, мой Талвоц, делай, как следует и не оставляйте вы меня, которых уже только горстка осталась верных.

Принцесса закрыла дверь коморы. Литвин стоял перед ней с узелком под мышкой.

– Разрешите мне речь словечко, ваша милость, – отозвался он после раздумья. – Разве помогут слёзы, когда следует о своих правах упоминать смело. Ваша милость от избытка медлительности и доброты пренебрегли недостойными людьми, а его величеству королю, как сестра, могли бы смелей говорить слова правды.

Доступа не имею за теми плохими, что его окружили, сказала Анна.

– Поэтому не просить теперь об этом, а требовать нужно, – отрезал Талвоц. – Я человек маленький, но мне мужества хватает, когда только приказы получаю. Упорно пойду хоть к его величеству королю.

– Если бы он был более здоровым, – прервала тихо принцесса.

– Собственно потому, что он опасно болен, тянуть нельзя, – добавил Талвоц.

Анна хотела объяснить свою медлительность.

– Дося обещала, что мне сделают аудиенцию, – сказала она, – ждать уж нужно терпеливо.

– Но если не сделает и не дожждётся, – сказал литвин, впадая в гнев.

– Пусть ваша милость развяжет руки, я пойду и не может быть, чтобы я не добился аудиенции. Услышат от меня фавориты и доносчики, чего ни от кого не слышали.

Анна испугалась и, складывая руки, шибко воскликнула:

– Только без разрешения не вырывайся, не хочу ничего силой получать.

Когда они это говорили, Талвоц уже стоял на пороге первой комнаты.

– Иди, спешу, – докончила принцесса, – сделай то, что я тебе поручила, но больше ничего. Милостивый Бог сжалится надо мной.

Так отправленный литвин, очутившись один с узелком под рукой в комнате аудиенции, замедлил шаг, огляделся.

Он должен был теперь обдумать какое-то средство ускользнуть отсюда незамеченным.

В приёмной не было никого, а маленькие двери вели из неё в коридор, где он не ожидал встретиться ни с одним слугой из двора принцессы, так как здесь их осталось немного. Таким образом, он выскользнул, уходя почти как вор, и счастливо добежал до своей комнаты, в которой товарища Боболы не застал. Было это ему как раз на руку.

Закрыв на засов дверь, он мог свободно собранное серебро связать и уложить так, чтобы заняло как можно меньше места, покрыл его войлоком и обвязал ремнём от упряжи. Узел мог показаться частью какого-то конюшенного инвентаря.

Лишь так приготовившись, он отворил дверь и позвал слугу, служащего при конюшнях, сам одевшись, как для города.

Прежде чем переступил порог, Талвоц осенил себя святым крестом. Знал он себя, горячей был, и при наилучшем сердце к делам, которые требовали хитрости и терпения, особенно на себя не полагался, но верил в Божью помощь.

Уважение и любовь к несчастной принцессе, а, может, обожание Доси, милость которой мог получить легче, служа её пани, прибавляли ему отваги.

Он энергично отправился через двор к городу, конюшого с узлом на плече ведя за собой.

Во дворах сейчас была великая суета и бродило множество людей; пройти незамеченным было трудно, но никто не спросил Талвоща, что за ним несли, а знали его также из грубости и зацеплять никто не имел охоты.

Так удачно добрался он уже до главных ворот со стороны Ворот Краковских, когда Пудловский, один из королевских придворных, с ним поздоровался:

– С чем же это вы так рано в город выбрались? – спросил он, любопытными глазами меряя молодого человека.

– Захотели, рухлядь нужно для путешествия починить, – ответил Талвощ.

Пудловский только pokrutil головой и любопытной рукой хотел пощупать узелок, когда литвин так ему на ухо закричал: «Прочь!», что тот был вынужден ретироваться.

– Оставьте в покое моё барахло, – крикнул он, – я, наверно, не выношу из замка то, что мне не принадлежит. Следите лучше за своими товарищами.

Пудловский что-то проворчал, кисло смеясь, и на этом кончилось.

Талвощ со слугой вышел в город, но он не знал, где тут было обернуться.

Чужак в Варшаве, он почувствовал, что без чьего-нибудь совета ничего не сумеет.

Его также легко было заподозрить, а от самой этой мысли кровь прилиwała к лицу. Он постоял немного на улице, не зная вполне, куда повернуть.

В горячем желании послужить принцессе он предпринял то, что ему теперь казалось очень трудным для выполнения.

Он размышлял ещё, когда почувствовал, что ему кто-то положил на плечо руку и мягким голосом по-христиански поздоровался:

– Слава Иисусу Христу!

Перед ним стоял идущий из костёла Панны Марии, в изношенной сутане ксендз, высокий, бледный, с некрасивым лицом, неправильные черты которого были и грубые, но чрезвычайно мягкие и полные какого-то милосердия. Был это очень бедный викарий Ступек, которого знал Талвощ и весь двор принцессы, потому что часто заглядывал в толпу людей и на службу, имея за обязанность утешать, учить и направлять особенно бедных и мало просвещённых. Было это его призвание.

Один, сын бедного крестьянина, сирота, он с великим трудом добился того, что смог стать священником и посвятить себя тому народу, которому чувствовал себя братом.

Ещё не старый, закалённый жизнью, ксендз Ступек жил только своим призванием и исполнением обязанностей, взятых на себя добровольно. В костёле все, начиная от пробоща до ризника, на него перекладывали всякие тяготы. Бедных он хоронил бесплатно, шёл он к бедным умирающим ночью в непогоду, сидел он при гробах, пел и молился, когда другие не хотели.

Ни в чём для себя не нуждаясь, ходя в потёртой сутане, постясь почти постоянно, всегда весёлый и спокойный, кс. Ступек пробуждал в одних почти насмешливое сострадание, в других уважение. Видели его там, где духовные обычно редко встречались: на рынках, в шинках, среди толпы, носящего слово Божье, обезоруживающего враждующих, объединяющего спорящих, направляющего безумных.

Всегда мягкий, имел иногда кс. Ступек взрывы такого страшного набожного гнева, что его боялись. Ибо народ принимал его почти за святого человека, который, забывая о себе, с по-настоящему апостольским рвением служил братьям, о которых другие не заботились.

Талвощу казалось, что ему, пожалуй, Провидение послало в эти минуты такого святого человека, и схватил его за руку, радостно её целуя.

– А куда это? – спросил викарий.

– Если бы я знал! – ответил литвин, отводя ксендза немного в сторону. – Может быть, вы, дорогой отец, скажете мне, куда идти. Вам я могу довериться. Меня послала принцесса! Мы

не имеем ни гроша в доме... бедная пани мне приказала тайно серебро заложить в безопасном месте. Сам не знаю, куда направиться с ним.

Ксендз Ступек поднял свои огромные руки вверх.

– Принцесса! Требуется серебро заложить, чтобы хлеба купить? Принцесса! – воскликнул он, задетый и испуганный. – Может ли это быть! О! Наказание Божье, за грехи отцов, невинная жертва! А придворные ходят в цепях и ездят в позолоченных каретах, а блудники деньгами сыпят, сея грех и скандал.

Он поднял глаза, которые зашли слезами, к небу.

– Отец мой! – прервал Талвош. – Ради Бога! Нет свободного времени, советуй, если можешь, или позволь мне идти, потому что моего возвращения ожидают.

Духовный задумался, водя вокруг очами. Затем они увидели как раз из замковых ворот выезжающего на коне в сопровождении нескольких вооружённых придворных мужчину средних лет, в польском наряде, довольно изысканном, который хмурым взглядом, покручивая усы, смотрел по сторонам. Его серьёзное лицо было милого выражения, но его покрывала печаль. Удивляться этому было невозможно, потому что никто в это время из замка от короля весёлым не выезжал: ни те, что его видели больным и упавшим духом, ни такие, что достать до него не могли.

Ксендз Ступек, увидев едущего, дал знак Талвошу.

– Задержись ненадолго, я два слова только скажу пану старосте.

Послушный литвин, который узнал во всаднике варшавского старосту Сигизмунда Вольского, хотя не понял, для чего викарий велел ему подождать, задержался, а ксендз Ступек быстро пошёл к всаднику.

Вольский остановился и начал разговаривать с викарием, который вскоре дал знак Талвошу, чтобы приблизился.

Литвин едва имел время с ним поздороваться, когда староста, наклонившись к нему, шепнул:

– Приходи сейчас ко мне, на старостинский двор, ты знаешь, мы устроим, что нужно. Благодарение Богу, что это так сложилось. Надо было прямо ко мне прийти.

Говоря это, Вольский поклонился ксендзу, кивнул головой Талвошу и, пустив коня, поехал со своим отрядом дальше.

Ступек между тем шептал Талвошу на ухо:

– Никому больше ни слова, иди к старосте.

– Но, ради Бога! – прервал Талвош. – Таким образом откроется тайна, о которой никто знать не должен.

– Староста её не предаст, я его знаю, – воскликнул ксендз Ступек. – Говори с ним откровенно, он уважает принцессу и всю семью, ему можешь доверять. Иди и спеши.

Литвин, с недавнего времени будучи при принцессе, желая в короткое время своей энергией приобрести её доверие, не знал старосты близко, но знал о нём, что был приличным человеком и что принцесса Анна его очень ценила; он слышал, что с теми, кто окружал и обдирал короля, он не имел никаких отношений, – поэтому он охотно послушался совета кс. Ступка и поспешил на двор пана старосты.

Тот стоял ещё на крыльце и давал людям указания, когда появился Талвош, ведя за собой слугу с узелком.

Они вместе вошли в большую комнату, в которой Вольский обычно принимал гостей. Староста живо обратился к Талвошу, отпоясывая саблю.

– Ради Господних ран, так что уж у вас плохого, что серебро нужно заложить, дабы двор с голоду не умер! – воскликнул Вольский.



– Не могу отказать, – ответил литвин, – но это есть и должно остаться тайной. Я доверился с этим ксендзу-викарию, хотя не имел права, пусть пан староста имеет милосердие над своим слугой.

– Я не предаю, – живо начал Вольский, – будь спокоен. Значит, так плохо, так плохо?

– Так плохо, что хуже быть, пожалуй, не может, – прервал Талвоц. – Жалость берёт смотреть на принцессу. Из замка тысячами золотые червонцы вывозят, драгоценности забирают, а с принцессой наизянейший пан говорить не хочет, её потребностей никто не обеспечит, она с утра до ночи плачет и с отчаяния серебро и драгоценности закладывает. Мы стучим и сбиваемся с ног, выпрашивая разговор, аудиенцию – и этого нельзя дожидаться.

Нахмуренный Вольский крутил усы.

– Ужас! – вскричал он. – Но Бог милостив, всё должно перемениться.

Он прошёлся по комнате, размышляя, и обратился к Талвоцу:

– Своё серебро возьми назад, – сказал он, – сколько за него мог получить?

– Сам не знаю, – ответил Талвоц. – Серебро ни в коем разе забрать не могу, потому что выдалось бы, что я раскрыл тайну, а принцесса бы не простила. Речь о чести королевского дома. Никто знать не должен, что до этого дошло.

– Покажи это серебро, – промолвил староста.

Талвоц открыл дверь, кивнул слуге и велел ему подать узелок, который сам развязал на столе.

Вольский почти со слезами на глазах по одному брал принесённые кубки и блюда; закрыл их быстро сукном и сказал Талвоцу:

– Я сомневаюсь, чтобы у евреев вы больше нескольких сот золотых получили; столько же и я дам и пусть серебро в хранилище лежит, ежели его назад забрать не можете... но мы все смертны... ты мне напишешь расписку, а я – вашей милости.

Литвин поклонился.

– Пане староста, ради Христовых ран, пусть никто не знает! – добавил он тихо.

– Я потому это делаю, чтобы никто не знал, – отозвался Вольский, – по той причине, что мне не только жаль принцессу, но мне также честь крови её дорога.

Это говоря, Вольский вышел на противоположную сторону, коротко усмехнулся, и принёс мешок с собой, а Талвоцу указал место у стола для написания расписки.

В несколько минут всё было готово, Талвоц облегчённо вздохнул; с уважением попрощался со старостой и поспешно вышел назад из замка, с радостью, что ему удачно удалось исполнить поручение...

Отправив слугу вперёд, сам с мешком за пазухой он уже был на втором дворе, по счастью, не обратив на себя ничьё внимание, и собирался сразу оповестить принцессу, когда Заглобянка заступила ему дорогу.

Она измерила его быстрыми очами, из которых он мог вычитать, что она знала, с чем он ходил, и хотела узнать, как вернулся.

– Благодарение Богу, – шепнул, кланяясь ей, Талвоц, – всё удалось хорошо.

Говоря это, он ударил рукой по мешку, который имел за сукном.

Девушка, не говоря ни слова, поблагодарила его только взглядом.

– Есть кто-нибудь у принцессы? – спросил Талвоц.

Дося пожала плечами.

– Никого, – сказала она, – люди знают, что тут ничем поживиться нельзя, редко также кто заглянет. Иди, милостивый государь...

Взгляд девушки, литвину казалось, платит за всё, так просияло его лицо. Не имел даже времени подумать, как солгать перед принцессой, когда она его спросит, что сделал с серебром, и вбежал в комнату аудиенций.

Анны тут не было, она ходила по другой комнате с Жалинской, о чём-то совещаясь потихоньку, а, увидев Талвоща, с улыбкой поспешила ему навстречу к порогу.

– Обернулись, ваша милость! – сказала она, меряя его глазами, чтобы узнать, принёс ли он что-нибудь с собой.

Талвощ добытый мешок положил на столе, кланяясь, и тихо шепнул, сколько принёс. Принцесса немного удивилась.

– Так много? – спросила она, чуть колеблясь и изучая его глазами.

– По весу пошло, – солгал Талвощ, – и столько выпало...

И уверен в серебре?

– Я головой за него ручаюсь, – отозвался литвин.

Принцесса Анна, которой было очень важно, дрожащими руками подала Жалинской мешок, кивком благодаря Талвоща.

– Пусть Бог тебе заплатит! – сказала она. – Потому что не знаю, смогу ли когда-нибудь показать благодарность вашей милости.

Литвин поклонился аж до земли... Он боялся, чтобы принцесса его не расспрашивала больше, и тут же отступил к порогу, как бы избегал благодарностей.

Только теперь он вздохнул свободней, когда, вернувшись в свою комнату, мог сесть, вытереть лицо, и, подумав, прийти к тому убеждению, что поручение выполнил удачно.

Пришедший Бобола застал его сидящим за столом с гораздо более светлым лицом, чем вчера...

\* \* \*

Почти тут же за Краковским воротами находился огромный постоялый двор для путешественников, хорошо известный в эти времена, так как был почти единственным в городе, в который, во время пребывания двора, приезжали путешественники издалека, а именно, немцы.

Вывешенный на пруте с одной стороны знак представлял собой очень неправильно вырезанного из дерева коня с гривой и пурпурным хвостом.

Дожди и пыль, по правде говоря, белого коня сделали серым и пёстрым, а красную некогда гриву и хвост обесцветили, но тем не менее постоялый двор назывался «Под белым конём». Рядом с этим румаком, который перебирал в воздухе двумя ногами, на меньшем прутике была огромная вьеха<sup>3</sup>, имеющая обязанность быть зелёной, но также пожелтевшая и наполовину опавшая.

Хозяйство больших размеров с сараями, конюшнями, хлевами и хранилищами, опоясанное по кругу забором, на взгляд, не выглядело ни изящно, ни даже чисто, стены были серые и забрызганные, ставни неплотные, крыша залатанная, но всем было известно, что лучшего постоялого двора и более услужливого хозяина, чем Барвинка, не было в Варшаве.

Барвинек имел особенную привилегию приёма у себя путешествующих немцев, с которыми мог разговаривать на их родном языке, чем гордился. Он сам утверждал, что с бедой что-то имел в запасе и из латыни на непредвиденный случай.

Кроме того, хозяин в своей особе соединил ещё – с позволения – мясника, и говорили, что свою профессию начал с убийства, прежде чем взялся за кормёжку. Фигура Барвинка, который фартука и ножа из запаса никогда днём не сбрасывал, полностью отвечала традициям гильдии, к которой относился. Огромного роста, с плечами и шеей сильными, как у зубра, округлым и румяным лицом, блестящими щеками, Барвинек был неутомимым в исполнении своих двойственных обязанностей. Весь день на ногах, рот также не жалея, ходил, бегал, кричал и не раз кулак в отношении челяди использовал.

---

<sup>3</sup> Связка чего-либо, венки, традиционно вешался на крышу дома при его строительстве.

Своим постоянным двором, хотя тот, может, оставлял желать лучшего, он очень гордился. Внизу размещалась гигантская комната, общая для всех путешественников, которая одновременно заменяла и кухню, потому что в глубине её на огромной печи на глазах гостей готовились кушанья, которые им подавал Барвинек.

При нескольких столах ели тут и пили с рассвета до поздней ночи. Несколько грязных женщин едва успевали обслужить. Напротив находилась бойня со ставней, вывешенной на улицу, на которой и при ней вывешивали свежее мясо. Через широкие ворота посередине входили в конюшни и другие комнаты и коморы в тыльной стороне дома. Старая и разболтанная лестница вела отсюда на чердаки и верхнюю часть, где было несколько комнат для путешественников, которые могли заплатить лучше и заслуживали особенного отношения.

Бывали времена, когда на постоялом дворе *под белым конём* пановала тишина и Барвинек мог вздремнуть на скамейке при кружке пива, но когда двор прибывал в Варшаву, трудно было сюда дотянуться.

Немцы, которые часто прибывали из империи, от княгини Софии из Брунсвика, от князей прусских – все тут размещались, а хотя кто более достойный имел в замке квартиру, коня и кортеж оставлял *под белым конём*.

Из Мазовии также и иных земель, кто прибывая в Варшаву, у знакомого мещанина или в монастыре гостеприимства не имел, должен был проситься к Барвинку.

В немалом также высокомерии выделяло этого хозяина то, что он знал свет и людей и лучше был осведомлён обо всём, что где происходило, чем другие.

Неоднократно паны советники, бургомистры и мещане, желая чего-то узнать, тянулись к Барвинку, а о ком он не дал хорошего свидетельства, тому не доверяли.

В особенности на него жаловались чужеземцы, что ввиду расчётов он не имел над ними милосердия и велел чрезмерно себе платить, но Барвинек говорил, что даром работать не мог и за эти деньги продавал своё спокойствие.

Мало с кем и с человеком какой-либо народности, хотя бы самым неприятным, самым гордым, не справился бы Барвинек. Много хладнокровия поначалу, а потом железного упорства ему помогало. Людей по аспекту, по приборам, по одежде, по мине, и, как говорил, даже по вытиранию носа научился узнавать так, что ему не много времени было нужно, чтобы знать как поступать с ними.

Молчаливый в первые часы, когда изучал своего путешественника, играл на нём, как на знакомом инструменте. Почти с каждым поступал иначе, а мало кого потом не высмеял...

Не льстил и не пресмыкался ни перед кем, а гордым низко кланялся, но им потом приказывал за это себе платить.

– Когда большой пан, вынимай кошелёк! – говорил он.

В ту пору, когда начинается наше повествование, Барвинек, как редко, ходил мрачный и недовольный собой. Слуги могли узнать это по собственным спинам, путешественники по молчаливому расположению. Девки, прислуживающие в большой комнате, уходили, лишь только увидев его – бегал такой злой и кислый и ничем ему угодить было невозможно.

Причиной этому было унижение. Редко когда выпадало Барвинку, чтобы не узнал кого-то за два дня, не узнал, как с ним обходиться, и с кем имел дело.

Между тем уже минуло четверо суток с того времени, когда к нему заехал путешественник, а Барвинек до сих пор даже национальность его изучить не мог.

На взгляд он казался ему немцем, имел немецких слуг, кони и карета украшены на немецкий манер. Сам он одевался, как немец, и имел вооружение, как они, а оказалось, что по-польски понимал и говорил даже на немного испорченном польском, в котором чувствовалось, что его когда-то знал хорошо.

С Барвинком предпочитал говорить по-немецки, но когда хозяин переходил на польский, не имел ни малейшей трудности в понимании.

Фамилии также много не говорили, слуги звали его *Ritter von Nemetsch*; он сам назвался хозяину Немечковским, но также мог быть чехом и поляком, а Барвинек его даже за чеха поначалу принял.

Из вопросов, которые задавал хозяин, он сделал вывод, что некогда тот бывал в Польше и хорошо её знал.

С чем и зачем сюда прибыл, Барвинек также не мог отгадать и вытянуть из него. Человек был довольно немолодой, сидящий, с загорелым и морщинистым лицом, марсового облика, рыцарской осанки и привычек. И он, и слуги выглядели по-солдатски, а дисциплина среди челяди была большой.

Возле этого Немечковского всё выглядело вполне богато, ни на себя, ни для людей не скупился; но что он тут делал, почему пребывал – в этом был сук для Барвинка.

Он утешался только тем, что рано или поздно должен постичь эту тайну. С утра путешественник выходил обычно в город, и хотя хозяин следил за ним, не мог понять, где он пребывал в течение целого дня. Не с радостью вдавался в разговоры и за язык тянуть не позволял.

Знал Барвинек, что и в замке бывал этот Немечковский, но у кого? Не мог постичь...

Самой большой загадкой была его речь, в которой временами звучала самая отличная полчишна, то снова выражений и слов вдруг не хватало, так что был вынужден пользоваться немецкими.

Чтобы так поляк переделся в немца – это не укладывалось в голове Барвинка. Знал он много таких, что в службе у императора, у короля римского, у княгини Брунвицкой бывали, ба, даже в Швеции на протяжении долгих лет с принцессой Екатериной прожили, а языка собственного ещё не забыли и, ступив на родную землю, лёгкость произношения сразу восстанавливали.

Немечковский же уже сегодня лучше и легче выражался по-немецки, чем по-польски, следовательно, по мнению Барвинка, поляком он быть не мог.

На пятый день пребывания этого загадочного путешественника в постоялом дворе «Под белым конём», хозяин немало удивился, когда утром увидел знакомого ему ротмистра Белинского, входящего и спрашивающего непосредственно о Немечковском.

Он наткнулся с этим вопросом на самого Барвинка, который, низко поклонившись, с ловкостью этим воспользовался и спросил:

– У нас тут только есть *Ritter von Nemetsch*! Может он быть поляком Немечковским?

Белинский громко рассмеялся.

Уж никто иной, как польский шляхтич Немечковский.

– Ну, прошу! – ответил Барвинек. – И настолько забыл родной язык!!

– Ба! – воскликнул Белинский. – Что за диво, когда, быть может, в течении двадцати с небольшим лет немцам и императору служил, не знаю, раз в год пользовался ли он святой исповедью!!

Записал это себе в памяти Барвинек и с тем большим любопытством присматривался к своему гостю.

Ротмистр в этот день пошёл искать бывшего знакомого аж в комнату на чердаке, и там между ними завязался следующий разговор.

Немечковский поначалу говорил тяжело и ломаной полчишной, только когда разговаривал с Белинским, речь потекла у него всё легче.

На пороге они обнялись.

– То-то мне только гость, – сказал Белинский. – Когда-то мы из глаз тебя потеряли, а потом было глухо, словно в воду канул, в самом деле, мы все тебя оплакивали. Ведь это тому...

– Двадцать семь лет, – прервал Немечковский. – Молодая королева Элжбета тогда, упрощенная с. п. гетманом Тарновским, дала мне рекомендательные письма к императору для

войны с Францией. Я хотел к рыцарскому ремеслу чужеземцев приглядеться и не мечтал там загнездиться.

Император Карл V принял меня как нельзя лучше и дал место в войске. Правда, что поначалу было тяжело и с речью, и с обычаями освоиться, и ради них наломаться, но молодой был и жадный до учения, а всё войско, хотя бы даже их ланцкнехты, так отличалось от нашего, что желало принести мне пользу, дабы что-нибудь домой привезти. Итак, я начал с их оружия, с одежды, с доспехов и, на удивление, мне посчастливилось...

Люди также полюбили меня от того, что был запальчивый и весёлый...

Что же скажете? Из года в год как-то с ними сжился, а в доме из семьи никого не было, засиделся аж по сию пору.

Немечковский опустил вдруг глаза и заколебался, словно ему нелегко было в чём-то признаться.

– Немного в том и бабская хитрость была повинна, – добавил он, – полюбил в Вене девушку и должен был жениться...

Белинский фыркнул.

– Я догадался, – сказал он, – иначе там бы не выдержал так долго.

– А! Красавица это была, красавица, кровь с молоком! Весёлая и умная, – говорил Немечковский, – опутала меня... Божий свет над её душой, потому что она уже не живёт. Только после смерти жены затосковал по родному краю, хотя в нём никого уже не имею.

Помните, ротмистр, молодыми мы оба были... двадцать семь лет... король Сигизмунд правил ещё... королева Элизабета жила... Как тут у вас в Польше всё изменилось! Ничего не понимаю, никого не знаю... В то время, когда ехал на двор Карла V, наш Сигизмунд Старый болел и скорую его кончину предсказывали, а теперь Август, слышу, также без надежды на жизнь... и без потомства!

Онемеченный шляхтич повёл глазами по задумчивому ротмистру, словно хотел угадать его ответ, и прервал, ожидая; но Белинскому печаль не дала быстро прийти к слову.

Они молчали так добрую минуту. Ротмистр поднял голову.

– Слушай-ка, Немечковский, – не скрывай от меня. Двадцать семь лет не был у нас и не срочно тебе было, а теперь охота пришла. Признайся открыто... выслали тебя на разведку? Император имеет великий аппетит на Польшу?

Немечковский так яростно дёрнулся, услышав этот вопрос, словно в него ударила молния; он стоял почти ошеломлённый.

– Во имя Отца и Сына! Кто же это поведал? – крикнул он.

Белинский смеялся.

– Никто не говорил, но я тебя в этом подозреваю, – сказал он. – Тут много разных людей крутится и от шведа, и от императора, и от французов, а в Литве от царя. Император имеет у нас много своих... естественная вещь была бы, если для себя хотел получить выгоду.

Пан Сигизмунд (такого было имя Немечковского), не отвечая, закусил усы; в лице было видно какое-то колебание и страх.

– Куда бы снова такого маленького человека, как я, собирались посылать, – сказал он, – ни на много бы им пригодилось. Но я столько лет служил императорам, насмотрелся на их мощь, что сам собой, если бы мог, готов бы им помогать по доброй воле. Следовательно, как тут обстоят дела, ротмистр?

Белинский, смеясь, похлопал его по плечу.

– Ну, ну, – сказал он, – больше я не хочу знать. Что до императорских заигрываний с нашей короной, я немного знаю об этих вещах. Есть тут достаточно могущественных панов, что сторонники императора; правда, будут такие, что его за деньги захотят поддерживать, но шляхта боится. В Венгрии и в Чехии немцы хорошо ограничили свободы и привилегии, а мы о своих заботимся. Если бы даже кого хотели выбирать из родни, сперва должен был бы жениться

на нашей принцессе, а во-вторых... хорошо бы его укрепили, чтобы нам *absolutum dominium* не вводил.

Шляхта не любит немца...

Немечковский заинтересованно слушал.

– Но для обороны от турок и москаля, – сказал он, – сила императора очень бы нам пригодилась...

– До сих пор мы без неё обходились, – ответил Белинский.

– Кто же ещё сватался к короне? – спустя мгновение, начал Немечковский.

– Говорят о французе, – сказал Белинский, – а тот будто бы имеет не меньшую силу, чем император, и не грозный. Прусский родственник князь тоже рад быть выбранным. Литва хотела бы царя, но, по-видимому, раздумает... Имеются такие, что о младшем сыне короля шведского, рождённому от нашей принцессы, намекают...

Кто может отгадать будущее, однако же король живёт...

– Но ему жизнь не обещают? – спросил Немечковский.

– Очень плохо, – начал ротмистр. – Несчастный господин из-за бабы попал и в болезнь, и в такое состояние, что ему жизнь не хочется. Сегодня или завтра завешание велит писать и запечатать.

Белинский опёрся на руки и вытер слезу.

– В завещании он мог бы выразить желание о приемнике? – вставил Немечковский.

– Не знаю, сдалось ли бы это на что, – продолжал дальше Белинский, – и меньше, чем кому-нибудь, императору, потому что из-за принцессы предубеждение к нему имеет. Повторяет, что умирает без наследника, когда ему вовремя развестись с женой не дали.

Немечковский внимательно слушал, не отвечал ничего и разговор казался исчерпанным, когда стоявший перед Белинским снова спросил:

– Не слышали вы тут что-нибудь о Гастальди?

Ротмистр пожал плечами.

– Каком? Том, что воспитывался на нашем дворе?

– Думаю, что именно он и есть, так как второго такого не знаю, – сказал пан Сигизмунд. – Нет его здесь?

– Ничего не знаю о нём.

Снова какое-то время разговор не шёл. Немечковский присел на тарчане.

– Всё я тут, – сказал он, – у вас иначе нахожу, нежели ожидал. Говорили в Вене, что император имеет могущественных сторонников в Польше и почти уверен в выборе. Тут же, кого спрошу, о ком намекну, слушать о нём не хочет. Я считал, что вам на что пригожусь, так как сжился со многими придворными, господами и рыцарством.

– Но всё это слишком преждевременно, – прервал Белинский. – Король жив, Бог может дать, что выкарабкается.

Таким образом прерываемый разговор продолжался ещё какое-то время, когда ротмистр спросил Немечковского, долго ли он думал здесь находиться и какая была настоящая цель путешествия, ежели тут не думал осесть.

– Сам не знаю, – проговорил Немечковский, – родня у меня далеко, которая меня не знает и я её тоже. Я хотел рассмотреть на родине на случай, если бы император имел тут какую-нибудь надежду.

– И выбрался в плохую годину, – прибавил Белинский, – когда эпидемия уже в Варшаву заглядывает и по стране распространяется. В любую минуту мы с королём отсюда выдвигаемся.

– Куда?

– Не знаю, к Литве, наверное, – говорил Белинский.

– А принцесса? – изучал Немечковский.

– Её также отправят, но, вероятно, не туда, где будет король, – сказал ротмистр. – Те, что находятся при нашем пане, не рады, чтобы на их деяния вблизи смотрели.

Говоря это, Белинский встал.

– Мне тут у тебя в этой комнате под крышей до чёрта душно, или ты со мной выйдешь отсюда, или я один должен в замок идти.

– Возьмёте меня с собой? – спросил, колеблясь, гость.

– Почему бы нет, – улыбнулся Белинский. – Это будет наилучший способ убедить тебя, как тут смотрят на императорских, когда тебя по одежде и речи за одного из них примут.

Зигмунд, услышав это, заколебался.

– Ежели так, – ответил он, – я предпочитаю остаться на постоялом дворе.

– У меня есть комната в замке, – добавил Белинский, – пойдёшь ко мне. Приехал рассмотреть, а на постоялом дворе только челядь встретишь, у меня всегда кто-нибудь найдётся. Хотя бы те, что не по вкусу пришлись бы, лучше, чтобы ты не ошибался.

Тогда оба пошли они в замок.

Стоящий на пороге Барвинец приветствовал проходящих и повёл за ними глазами. С того времени, когда он видел ротмистра за доверчивым разговором со своим гостем, был значительно удовлетворён и считал его уже за поляка. Благородного Белинского знали как настоящего рыцаря, который не в какие тайные сговоры не вдавался.

Не имел он также времени заниматься Немечковским, потому что со вчерашнего дня иная и ещё более неординарная фигура появилась «Под белым конём».

Та большей была, может, загадкой для Барвинка, чем в первые дни тот мнимый немец.

Ближе к вечеру очень красивая колекба подкатила к постоялому двору, влекомая четырьмя гнедыми лошадьми в блестящей упряжи, со слугами с цветом, с челядью и возом за ней. Дамы и господа, которые в это время ездили только колекбами, в постоялый двор никогда почти не сворачивали. Могущественные имели или собственные дворы, или знакомых в городе.

Вышел Барвинец, шапку уже заранее стягивая и надеясь увидеть выходящую из кареты женщину, когда двое из слуг, приблизившись к ступени, достали изнутри что-то, словно маленького подростка, ребёнка... и поставили его на землю.

Эта фигурка едва достигала Барвинку до колен, но это не был ребёнок, потому что, наклонившись, хозяин с удивлением заметил маленького немолодого человечка, карла, одетого по чужеземски, с гордой миной, при мечике.

Карлы при дворах в то время не были особенностью, имела их Бона несколько, из которых двоих подарила императору Карлу; карлицу Досечку забрала с собой в Швецию Екатерина и та в заключении с ней сидела, Ягнешку взяла княгиня Брунsvицкая, но карла, который бы сам себе был паном, ездил в колекбе, имел слуг, цвет и выступал по-пански, Барвинец, как жил, не видел и никогда о подобном не слышал.

Не знал он, как к нему обратиться, почтить его или равным себе считать. Он ещё размышлял, когда карлик что-то живо залепетал слуге, а тот приблизился к Барвинку и объявил ему, что его пан, королевский подкоморий (какого короля, не говорил), доведывался, где бы мог найти удобную и красивую гостиницу, за которую заплатит, как следует.

– Но, – прибавил слуга, – лишь бы чем наш пан не удовлетворится, привык к королевским покоям, нужно ему пару чистых и красивых комнат.

Барвинец охотно поместил бы его у себя, из-за прибыли, но мест не было; он тёр, поэтому, голову и размышлял, а тем временем, увидев так раздетого карла, множество людей собралось, как на чудо, около него и ворот, что маленького пана сильно выводило из терпения.

Он был ужасно живого темперамента, начал звать слуг, нетерпеливо крутясь, и, прежде чем Барвинец надумал отвести его в соседство к мещанину Совки, который мог уступить пару

прекрасных комнат, карлик рванулся назад в свою колыбельку и уже хотел ехать прочь, приказывая ко двору старосты везти, хотя пора была поздняя.

Барвинек едва имел время подбежать и предложить проводить его к Совки, а то, что там сараев и конюшни не было, двор и лошадей этого маленького подкомория вернуть под белого коня.

Позже от людей узнал хозяин, что карлика звали Крассовским, что он был польским шляхтичем из Подлясья, могущественным человеком и, что в течении долгого времени он пребывал при дворе французской королевы, а недавно вернулся в Польшу.

Того же дня утром видели его в колыбельке, едущего к пану Вольскому старосте, который не только принял гостя, но забрал его от Совки к себе на двор с людьми и лошадьми. Около полудня потом приехал посланец из Швеции с письмами и тот остановился «Под белым конём», а позднее двое прибыло от герцога прусского.

Словом, не имел Барвинек отдыха и заключал из этого движения, какое тут выявлялось, что с королём, должно быть, плохо, когда так усердно навевались со всех сторон.

\* \* \*

В замке в этот день положение не изменилось, те, что имели ближайший доступ к королю, говорили, что улучшения здоровья доктора не прогнозировали и настаивали на отъезде.

Великая неразбериха царил среди службы, стремящейся получить пользу из последних минут панской жизни.

Выносили ящики и мешки, приводили евреев и ростовщиков, бродили разные женщины, любовницы короля поступали так смело и беззастенчиво, как если бы были уверены в безнаказанности.

В этот день ходила новость, что король долго с кс. Красинским, подканцлером, сидел, запершись, и уже составленное завещание приказал переписывать в нескольких экземплярах. В конюшнях всё приготовили к путешествию. Сигизмунд Август почти не вставал с ложа.

День отъезда ещё не был назначен. Крайчий и подчаший, которые оба считались приятелями Гижанки, медлили с путешествием, желая дождаться её здесь, чтобы ещё для себя и своей дочки у короля что-нибудь могла выманить.

Из многих любовниц Сигизмунда Августа Барбара Гижанка была самой голосистой, а появившейся в этом году дочкой, которую считали королевским ребёнком, пользовалась для того, чтобы для себя выпросить обильное приданое.

Очень красивая, эта дочка мещанина и варшавского бургомистра жила с матерью в монастыре, когда её просмотрели крайчий и подчаший, и с помощью еврея Егидега, который служил им в подобных делах, увели для короля. Подчаший был первым, что сумел туда проникнуть под фамилией сестры Опацкой.

Приведённая в замок, в котором жила на одном дворе с принцессой Анной, больно дала ей себя почувствовать, по той причине, что из окон принцессы было видно по целым дням выглядывающую и принимающую многих гостей любовницу, а потом неоднократно и её детское хныканье доходило до ушей униженной пани.

Возмущённый двор принцессы Анны и она сама этого ребёнка иначе как «щенком» не называли.

Великие милости у короля привлекли к ней много друзей, во главе которых стояли крайчий и подчаший. Первый из них подарил ей сразу карету и коней, которыми гордилась в городе, когда у принцессы гроша на кухню для двора не было. Иероним Синявский, каштелян каминицкий, Ласки, воевода мазовецкий, много иных выбрали себе Гижанку, через неё у короля вымогая привилегии и дары.



Ещё более болезненным, чем соседство в замке Гижанки, было похищение собственной фразуцимер принцессы Анны, Заячковской, на которой король хотел жениться. Использовали уловку, обманули принцессу, якобы Заячковская собиралась выходить замуж, и таким образом взяли её к королю, а потом временно поместили в Витове, недалеко от Пиотркова, где держали её по-княжески. По несколько тысяч золотых червонцев сразу посылал король Заячковской, а одно её роскошное ложе стоило четыре тысячи.

Кровавыми слезами этот позор своего дома оплакивала Анна, а оттого, что возмущения своего сдерживать не умела, что её речи доносили Августу и пытались их поссорить, дошло до того, что брат с сестрой не виделись, и король о всех её нуждах, казалось, забыл.

Анна на самом деле имела друзей и на королевском дворе, но менее смелых, чем те, которые из последних часов старались извлечь для себя выгоду.

Завещание, которое как раз в этот день переписывали, доказывало лучше всего, что сердце Сигизмунда Августа не отвернулось от сестры. Скорее стыд, нежели гнев, был поводом для разрыва отношений. Король боялся законных оправданий, самых слёз, которые больно бы его кольнули.

Не давали также больному покоя, его намеренно изолировали, пичкали всё более новыми лекарствами баб и привозимых ведьм – так что ослабевший, измученный, он не был паном себе.

Обозный Карвицкий был одним из тех, которые наиболее торжественно себе обещали не допустить отъезда короля, пока с сестрой не увидится и не помирится.

Когда так в одной части замка около больного крутится рой жадных людей, в другой возле принцессы Анны собираются верные ей и семье, готовые защитить покинутую. К этим принадлежал, как мы видели, и варшавский староста, который, будучи в замке, и, не имея возможности достучаться до короля, велел отвести себя к принцессе.

Она принимала его всегда мило, по той причине, что считала его человеком, который не запятнал себя ничёмным раболепием, а у короля имел милость заслуженной работой, какую предпринял около моста на Висле, потому что Сигизмунд Август желая это дело видеть завершённым, поручил ему и на него надеялся.

Этот огромный мост, постройка для своего времени трудная и дорогая, уже наполовину было оконченным. Ездил король, когда чувствовал себя более здоровым, осматривать его, при-сматривалась принцесса, гордился им Вольский.

Увидев его у себя, Анна которая, как всегда, так и в этот день, вышла к нему с заплаканными глазами, думала, что он прибыл похвастаться своей работой.

– Давно вас не видела, пане староста, – отозвалась она грустно, – и ни весна, ни зима не помешали вашим работам, которые, конечно, должны были продвинуться далеко.

– Не отдыхаем, – ответил староста весело, потому что всегда привык показывать ясное лицо, – страшусь только теперь, чтобы нам боязнь эпидемии не рассеяла людей.

Принцесса вздохнула. Вольский, поведавший ещё что-то о мосте, внезапно изменил предмет разговора.

– У меня есть интересный гость, – сказал он, – которого я бы и вашей милости рад показать, но без позволения не смел.

Кто же это такой? – равнодушно спросила Анна.

– Польский шляхтич, Крассовский, но от долгого пребывания во Франции на дворе королевы-матери, которой был и есть любимцем, наполовину уже француз. Зовут Крассовский. Господь Бог его коснулся физическим недостатком, потому что я этого иначе назвать не могу, так как не знаю, выше ли он ростом локтя, но Локетек этот разумом, остроумием, учёностью и даже фигурой и лицом ни одного гиганта превосходит. Нужно его видеть, чтобы этому поверить. Так ему эта карликовость, что имела быть ограничением, стала инструментом фортуны. Долгие годы пребывая на французском дворе, он собрал и имущества достаточно, и приобрёл

популярность. Заскучал он, однако, по Польше и теперь тут пребывает. Самое интересное то, что он рассказывает о французском дворе, королеве-матери, короле и его семье, стоит послушать.

– Мой староста! – вздохнула Анна. – Сегодня у нас так грустно, что красивейшей сказочкой о королях развлечь нас трудно.

Вольского не обидел этот ответ.

– А я бы, – сказал он, – несмотря на это, смиренно просил бы его на аудиенцию. Если бы король был поздоровее, наверняка, принял бы его, вместо него хоть ваша милость захотите учинить ему эту благосклонность.

Довольно равнодушно, не поднимая глаз, принцесса сказала:

– Ежели это обязательно необходимо, а вам будет приятно?

Староста поклонился в колена.

– Я хотел бы ему это выхлопотать, так как он имел из Кракова ко мне рекомендательные письма, – проговорил он. – Человек, впрочем, интересный, потому что насколько он маленький, настолько в нём много ума, и стоит видеть эту особенность, потому что подобное не быстро появляется.

Карлов мы все знали и видели много, особенно злобных и детских, этот же совсем другой и позора польскому народу у французов не учинил.

Староста спросил, когда бы он мог Крассовского с собой привести, а принцесса немного огорчилась.

– Когда хотите, – сказала она, – только не тогда, когда мне у брата, у его величества короля аудиенцию выхлопочут, так как её не сегодня-завтра ожидаю.

– Сомневаюсь насчёт сегодня, – сказал староста, – он с ксендзем подканцлером занят и знаю, что не скоро это кончится. Поэтому, если бы ваша милость дозволила, ближе к вечеру его сюда мог бы привести.

Принцесса не казалась ни любопытной, ни жадной до знакомства с таким оригинальным созданием, которого ей рекомендовал староста, но не хотела прекословить Вольскому.

– Итак, хорошо, – ответила она холодно, – а говорит он по-польски или по-итальянски?

– Знает оба эти языка, а французский естественно, потому что к этому привык долгим пребыванием во Франции.

Вольский, так недолго побыв, отъехал, а принцесса Анна засмушалась сразу тем, что карлик, который привык к великолепию парижского двора, найдёт у неё такое убожество и простоту. Она велела Доси постараться, чтобы комната для аудиенций выглядела немного красивей.

Но откуда же здесь было взять предметы интерьера для неё и украшения?

Заглобянка из иных комнат выносила, что могла, постаралась о цветке и немного обновила грустную и тёмную комнату.

Как объявлял староста, перед вечером заехала колейка в малый замковый двор, где находились несколько особ из службы, и недоумевали, видя проходящего Крассовского.

Действительно, эта фигурка была такая особенная, что ей дивился весь Божий свет и надивиться не мог. Карлик был очень изысканно одет по французской моде, а так как ловкий был и полный жизни, хотя немолодой, поворачивался резко, выставлял себя очень смело и гордо – было приятно на него поглядеть. Начиная с волос, искусно уложенных, всё, что имел на себе, было тщательно подобранное, дорогостоящее и красивое. Цепочка, мечик были специально сделаны для него.

Личико, хотя постаревшее и морщинистое, имело много жизни, глаза – огня, движения – изящества.

Привыкший к большому двору, к обществу королей и герцогов, обращался бодро, смело, отнюдь не смущённый и уверенный в себе.

Принцесса, нарядившись немного аккуратней, хотя наряжаться не очень любила, вышла навстречу старосте, который представил ей Крассовского.

Карлик со шляпкой в руке, приняв осанку придворного, поклонился принцессе и весьма смело выпалил свой комплемент по-итальянски.

Голос его, не такой писклявый, какой обычно бывает у карлов, звучал приятно, и Крассовский в целом произвел на Анну хорошее впечатление.

Она спросила его, как долго он не был в стране. Тогда карлик начал отвечать, как почти двадцать лет назад он случайно попал во Францию, как из-за своего порока был представлен на королевском дворе, полюбили его там и вынудили остаться.

– Хотя мне там было очень хорошо и тешился милостями всей королевской семьи, – говорил он далее, – неоднократно я скучал по родине и никогда о ней забыть не мог.

Королева-мать, в услугах которой я имел честь быть, не хотела меня отпустить, я даже должен был ей обещать, что вернусь, посетив мою родину, и так очутился теперь здесь.

– В довольно грустное время, – сказала принцесса Анна. – Наш двор по причине слабости короля покрыт грустью, разделён, а вот и о чуме нас извещают. Скоро, ваша милость, наверное, убедившись, что у нас делается, и как тут тяжко живут, вернётесь в более весёлую Францию.

Крассовский ответил, что ему здесь, однако, приятно среди своих и что столько испытал уже хорошего, будучи милостиво принятым панами Зборовскими и иными, более значительными, что не рад покидать Польшу и, конечно, не быстро. Затем ловко карлик повернул беседу на королевскую семью, правящую во Франции, на её мощь, богатства, великие качества, привязанность к костёлу и верность апостольской столице.

Он рассказывал, как у королевы-матери, правящей наравне со своим сыном Карлом, было много горя, пытаясь противостоять посягательствам гугенотов, которые привили ересь и единое до сих пор и согласное королевство пытались разделить на два лагеря.

– Что-то подобное и у нас вижу, – добавил Крассовский, – потому что и мы своих гугенотов имеем, таких же могущественных, как французские; дай только Боже, чтобы нашли таких деятельных защитников костёла, как королева-мать во Франции, которая, конечно, гугенотам преимущества взять не позволит.

Поскольку принцесса прислушивалась с достаточным интересом, бросила несколько вопросов и казалась живо заинтересованной повествованием о французском дворе, Крассовский начал во всю рассказывать о его забавах, вежливости, образованности, великой изысканности и элегантности обычая.

– Сам король, – добавил он, – мало до сих пор занимался управлением страны, больше забавы и охоту предпочитая, зато королева-мать очень деятельна. Особенно она любит второго своего сына, молодого герцога Анжуйского, Генриха, который несомненно является самым милым и красивым сеньором своего времени в Европе.

Он есть также любимцем матери, которая как раз ищет для него помещение за пределами страны, так как боится, чтобы король к нему не ревновал, и сторонники Карла чтобы против него не интриговали...

Хотели для него создать новое королевство из земель, подчинённых язычникам, но трудно так сделать, чтобы дало результат. Я думал, – добавил смело Крассовский, – что если бы когда наше королевство от бездетности пана осталось осиротевшем, не могло бы лучшего сделать выбора, как привести на трон Генриха.

Слыша это, принцесса сильно зарумянилась, а карл живо прибавил:

– Герцог Анжуйский не женат и лучшего для наследницы трона мужа пожелать бы и выдумать нельзя.

Это немного смелое выступление не понравилось принцессе, потому что сделала вид, словно его не слышала или не понимала, но карлика это нисколько не остановило.

– Меня следует простить, – сказал он, кланяясь, – что к обеим королевским семьям будучи привязанным, плету себе такие планы и такое будущее рад бы им обеспечить. Для Польши не было бы союзника более сильного и верного, чем Франция, и гораздо более безопасного, чем император Максимилиан, который имеет тут своих приятелей, но также бояться его тут многие по той причине, что ожидают той участи, какая встретила Чехию и Венгрию.

Королевна Анна начала внимательно слушать.

– Видно, – сказала она, – что ваша милость использовали короткое время, какое пребывали в Польше, и уже немного прослышали, что тут у нас делается. Это грустные прогнозы, о которых мне особенно не пристало думать.

Крассовский повернул к королевской семье Франции.

– Герцог Анжуйский, – сказал он, – как очень ревностный католик, быстро бы у нас себе сердца приобрёл... Он лично также полон качеств, которые делают его милый. Молодой, весёлый, остроумный, любящий развлекаться, умеющий всегда придумать себе развлечения... внешностью даже всем нравится...

Говоря это, Крассовский, из плащика и одежды, застёгнутой на груди, начал что-то доставать.

– При расставании её величество королева, которая всегда со мной была такой ласковой, – добавил он, – самым дорогим мне подарком и памяткой удостоила... Ношу её всегда при себе. Это изображение её величества королевы, которая до сих пор ещё величием и красотой превосходит даже более молодых, его величество короля, брата его, молодого герцога Анжуйского.

Говоря это, Крассовский достал наконец оправленный в алый бархат род бумажника, и, становясь на одно колено, ловко подал его принцессе.

Анна сначала заколебалась, может ли поглядеть эти изображения, но, после минуты раздумья взяла из рук Крассовского бумажник и начала поочерёдно просматривать изображения.

Карлик тем временем особенно старался её внимание обратить на последнюю из этих миниатюр, изображающую очень лестно приукрашенного герцога Анжуйского.

Староста Вольский, который стоял близко, мог заметить, как бледное лицо принцессы зарумянилось и выразило некоторое смущение...

Крассовский между тем рассказывал: о достатках, великолепии, о развлечениях на дворе, маскарадах, танцах, турнирах и о великой изысканности, с которой там всё проходило.

– Ничем есть при том, – говорил он, – славящиеся изысканностью и великолепием дворы итальянских герцогов, из которых не один достатками и могуществом с королём Франции сравниться не может.

Со всей Европы, также из Италии самые выдающиеся артисты, художники, скульпторы собираются сюда для служения могущественному монарху. Нет жизни, как там.

Принц Генрих, который с колыбели к ней привык, везде вертится, несомненно, с собой понесёт то, что ему необходимо, как воздух... Счастлива пани, которая сумеет получить его руку и сердце.

Постоянно делая акцент на качествах принца Генриха, как-то это было значительно, что принцесса не могла его ни понять, краснела, молчала, но каждое слово Крассовского глубоко врезалось в её память.

Время на этих его историях, остроумием и весёлостью оживлённых, уходило так быстро, что принцесса не заметила, как наступил вечер.

Староста дал знак Крассовскому, что пора было попрощаться с принцессой.

Карлик оставил в её руках свой бумажник с изображениями и не упомянул о возврате его, а принцесса положила его рядом с собой на столике; но Крассовский не посягнул на эту свою собственность и уже прощался, когда принцесса напомнила ему о ней.

– Ежели ваша милость позволит, – сказал он, – могу эти изображения, для лучшего их просмотра, оставить тут, до тех пор, пока их задержать у себя подобает... Может, их кто ещё захочет видеть, а я очень рад бы, чтобы они тут себе сердца приобрели... для дорогой мне, благодетелей моих, семьи.

Прежде чем Анна имела время опротестовать, карлик прытко поклонился и вышел с Вольским, оставив на столе бумажник.

Едва они были за порогом, когда принцесса дрожащей рукой схватила книжечку с миниатюрами и изображение принца Генриха жадно начала разглядывать.

Лицо её то краснело, то бледнело, дрожало; было видно, что какая-то мечта, надежда овладела ею. Она стала задумчивой, уставившись в эти почти женски нежные черты молодого принца, которым художник придал выразительность, обаяние и красоту молодости, какую, может, в натуре не имел.

В Генрихе даже наименее опытный глаз мог вычитать насмешку и холодную какую-то жестокою иронию человека, который умеет любить только себя; на картинке он представлялся совсем иначе: мягким, вежливым, милым.

Принцесса почувствовала странное влечение к этому незнакомцу, который мог быть ей предназначен, ей, что так долго ждала кого-то, на этого провиденциально для неё указанного мужа и пана. Бедное её сердце так очень давно желало кого-то любить, кому-то посвятить себя, привязаться к какому-нибудь существу, которое бы ей хоть капелькой любви за всё сердце отплатило.

Сколько же это раз она завидовала сестре Екатерине, разделяющей заключение Яна, страдающей с ним, отвечающей тем, что её хотели отделить от мужа: «Бог нас соединил, верной буду ему до смерти...»

Этому сердцу бедной принцессы на протяжении всей её жизни только самые болезненные наносили удары. Отец был к ней безразличен, мать любила прежде всего Изабеллу... брат был холоден... Она была преданна Екатерине, которой уступила права своего старшинства, не получив сердца. Служила Софии Брунsvицкой, унижалась перед ней, падала перед ней, редко получая доказательства памяти и привязанности.

Все проекты выдать её замуж сползали по очереди по пустякам... становилась всё более одинокой, одинокой, а теперь брат от неё отказался, знать не хотел, и смерть его в любую минуту могла её, без опеки, без друзей, бросить на добычу домашних разборок о выборе господина.

Помнили о ней или нет польские и литовски паны? Среди них насчитывалось друзей не много, неприязненных и равнодушных тысячи.

Надежда, хоть слабая, обманчивая, какого-то счастья, возрождения, омоложения, тронула её сердце. Генрих ей понравился, что-то, казалось, говорит, что он был тем предназначенным!

В блаженной и вместе грустной мечте Анна потратила значительную часть времени... Она села, задумчивая, и, боясь, как бы её изображений не отобрали, как бы не высмеивали, может быть, заинтересованность ими, тщательно их спрятала.

Жалинская, которая вечно и всегда теперь кормила её оправданиями, гонялась, гневалась, дулась – и эту мечту, верно, нашла бы грешной... и неподходящей.

С этой мечтой о Генрихе, молчащая... начала, наконец, молиться, чтобы прогнать навязчивые мысли.

\* \* \*

Талвош из-за любви к принцессе Анне, а немного и из-за красивых глаз Доси Заглобянки, набегавшись утром с серебром и счастливее, чем ожидал, получив деньги, в этот день почи-

вал уже на лаврах и весело разговаривал с Боболой, который сидел, нахмуренный, на своём тарчане, горя, когда в дверь постучали, и в ту же минуту открыли её; головка подростка, девушки с коротко остриженными волосами показалась в ней, поискала глазами Талвоца и воскликнула:

– Пана Талвоца просят!

Не спрашивая кто, и думая, что либо Жалинская в нём нуждается, либо принцесса приказывает позвать его, схватил литвин шапку и побежал.

Девушка предшествовала ему, скача через коридор аж до передней, в которой со сложенными на груди руками, с гордо поднятой головой, стояла ожидающая его Заглобянка.

Неожиданное счастье для влюблённого Талвоца.

Девушка, которая привела его сюда, указала пальцем на Дося. Талвоц поклонился, сердце его билось...

Задумчивая Дося, казалось, размышляла, что ему сказать.

– Мне не нужно вас спрашивать, – сказала она, – так ли вы привязаны к принцессе, как я. Хотя вы недавно на её дворе, но я считаю вас верным слугой нашей пани.

– И можете за это поручиться, – прервал Талвоц, кладя руку на грудь.

Заглобянка провела белой ручкой по лбу.

– А! – сказала она грустно. – Если бы она столько имела друзей, сколько имеет врагов... Против неё все сговариваются и объединяются. Оставил её король и забросил... а другие, когда он закроет глаза, будут всё делать в интересе каких-то там пришлых панов, которым захотят продать себя... а о принцессе, хотя ей принадлежит это государство и корона, не подумают!!

Дося вздохнула, и вдруг, понизив голос, начала живой:

– Император Максимилиан имеет уже здесь больше друзей, чем она... Все за ним и с ним... Принцесса знает наверняка, что кардинал Коммендони думает только об императорских интересах, а о её судьбе вовсе не заботится. Как и откуда мы это знаем, в этом у меня нет необходимости вам признаваться, но верно то, что кардинал, который ежедневно выезжает в Беланский лесок ради свежего воздуха, сегодня там имеет встречу с кем-то... по-видимому, из Литвы. Там будут какие-то совещания.

Она посмотрела на Талвоца, не смея закончить. Литвин зарумянился.

– Неприятная это вещь, – сказал он, – подслушивать и шпионить и, если кому, то мне она не пристала... но когда речь идёт о принцессе...

– О спасении её, быть может! – прервала Дося горячо. – Потому что об опасности достаточно иногда знать, чтобы её избежать... Если бы ваша милость хотя бы узнали о том, кто там ожидает кардинала, с кем и... о чём будет совещание.

Взгляд девушки, которая отлично знала, что склонит Талвоца на что захочет, стал таким настаивающим, что литвин почувствовал себя готовым на всё.

– Уже когда кардинал, – добавила Заглобянка, – использует такие способы, что за городом в лесу назначает свидания, дело должно быть не малого значения и особы, на него приглашённые.

– Я наших литвинов всех знаю, и Ходкевичей и Радзивиллов, и сколько их там есть, – сказал Талвоц.

Дося прервала его.

– Поскольку Коммендони уже раньше сносился с поляками, с воеводой Фирлеем, с Зеб-жидовскими даже... а теперь литвинов приводит, очевидная вещь, что речь идёт о важном деле, о наследстве после короля, которого уже считают умершим.

Талвоц стоял задумчивый, терзая усы и закусывая губы.

– Кардинал, хитрый итальянец, как никто здесь, – сказал он, – достаточно вспомнить, что он сломил короля, когда дело было о разводе; ваша милость считаете, если он в лесок едет по причине секретности, поставит, наверное, стражей и приблизиться к ним будет невозможно.

Дося пожала плечами.

– На это, сударь, ты имеешь разум и хитрость, – отозвалась она резко. – Несомненно, что так, как стоишь, не приблизишься, но...

Талвоц рассмеялся.

– А! Правда, – воскликнул он, – хоть в холопа или в бабу, идущую по грибы, могу переодеться.

– Достаточно в нищего, – вставила Заглобянка живо.

– Не знаете, в котором часу состоится это свидание в лесу? – спросил Талвоц.

– Перед вечером, много времени терять нельзя, а хотя бы вы какой-нибудь час прогулялись, ожидая, не такое это тяжёлое мучение.

Литвин ничего определённого ещё не отвечал, Заглобянка начала терять терпение.

– Пойдёте или нет? – спросила она.

– Должен, – произнёс послушный литвин, – но как я сумею то, что вы мне приказываете... один Бог знает.

– Я вам не приказываю, – прервала Дося, – не для меня это делаете, но для принцессы.

Талвоц, ей казалось, взглядом говорит, что, по крайней мере, для неё также, как для Анны, предпринимал очень небезопасное и неприятное шпионство.

Не прошло потом часа, когда ободранный нищий с грязным лицом, в дырявом сукмане, в лаптях, с посохом, из замка через сад спустился к Висле, отвязал у берега прикрепленный маленький чёлн, сел в него, незамеченный, и сильно работая веслом, поплыл, оглядываясь вокруг, по течению реки к Беланам.

Трудно в нём было признать молодого и красивого парня, который любил наряжаться, и заботился о том, чтобы не хуже других выглядеть. Но чего же не сделают любовь и честное сердце.

Талвоц много делал для Доси, это верно, не менее, однако, желал услужить принцессе, которую её двор и те, что её видели теперь в этом сиротском положении, любили сильнее, чем когда-либо, оттого, что её преследовали.

Талвоц не напрасно воспитывался на берегах Немана, с маленькой лодкой умел отлично справляться, управлял ею ловко, и очень не много потребовалось времени, чтобы доплыть до леса, который заросшим берегом доходил даже до реки.

Спрятав лодку в тростнике и камыше, выскочил из неё и, согнувшись, с посохом, разглядываясь между соснами, начал подниматься вверх, пытаясь угадать, где кардинал и эти таинственные литвины собирались сойтись. Он немного знал этот лесок, потому что в него ходили на прогулки из города.

Он не заметил в нём сначала никого, было пусто... Только пройдя немного дальше, на маленькой полянке, показались кони, которых вёл конюший. По сёдлам и попонам, хотя и скромным, он понял, что не абы кто из этих всадников должен был спешиться.

Но, кроме слуги, при конях никого не было. Осторожно переходя от дерева к дереву так, чтобы стволы и заросли его заслоняли, проник Талвоц даже вглубь леса, постоянно обращая глаза во все стороны и настораживая уши.

Долго ничего не было слышно.

Идя далее, ему показалось, что послышался тихий разговор... Следовательно, он пошёл в ту сторону, из которой он доходил. Вскоре мелькнули перед ним две фигуры. Почти ползком по земле литвин старался теперь как можно ближе к ним приблизиться.

Сделав более десяти шагов, он мог уже разглядеть лица... и чрезвычайно удивился, когда ему показалось, что в них он узнал пана Ходкевича и Николая Кшиштофа Радзивилла.

Не особам он удивился, но тому, что они могли сблизиться друг с другом и спокойно беседовать. Ибо ему было ведомо, что Ходкевичи в данное время с Радзивиллами были на ножах по поводу того, кто на Литве владетельней.

Никто не слышал и не допускал примирения. Чудом выдалось Талвощу, когда он заметил их спокойно стоящих рядом и каждую минуту обменивающихся несколькими словами.

Большой сердечности по ним видно не было. Ходкевич стоял подбоченясь, с тем огромным высокомерием, которое никогда его не покидало, даже рядом с тронем. Радзивилл немного подальше, с равнодушным лицом, с притворным, может, холодом, внимательно смотрел на него, не давая себя впечатлить этим выражением гордости.

Радзивилл был как бы тем, который уже чувствовал себя уверенным в своём приобретённом положении. Ходкевич, казалось, только хочет его приобрести и обеспечить себя.

Говорили мало.

Талвощ, идя в направлении их глаз, так как оба обратили взор в одну сторону, догадался, что оттуда, несомненно, ожидали кардинала.

Прошёл добрый отрезок времени. Талвощ начал внимательно разглядываться, желая узнать, где происходит разговор, чтобы приблизиться к нему и хотя бы на земле в кустах прилечь.

В лесу, тогда достаточно заросшем, полном поломанных ветвей, суши и лому, прохаживаться было невозможно, не подобало искать в нём каких-то углов; следовало допустить, что кардинал подъедет дорогой из Варшавы и что на этом тракте задержится с ожидающими для переговоров.

Вдалеке уже послышался грохот кареты и литвин поднял голову, пытаясь её разглядеть, но вскоре всё стихло. Радзивилл и Ходкевич посмотрели друг на дружку, сделали несколько шагов вперёд, как бы навстречу, а из деревьев в глубине выступили две фигуры, идущие пешими.

Талвощ не один раз видел кардинала, но всегда в его официальных одеяниях. Сейчас он имел на себе только тёмно-фиолетовую нижнюю часть, а сверху длинный костюм и чёрный плащик. На голове такую же шляпу с широкими полями.

Тут же за ним, так же одетый, шёл только другой духовный – никого больше. Служба и карета остались, вероятно, у опушки леса.

Кардинал шёл всё живее, внимательно оглядываясь вокруг. Было это то же самое известное Талвощу лицо итальянца, в котором невероятную хитрость, невероятную ловкость покрывало выражение такой мягкости и доброты, такой сладости и почти детской наивности, что никто его бояться, никто заподозрить в хитрости не мог.

А был это своего времени самый ловкий из переговорщиков, самый мудрый из дипломатов, муж непостижимого опыта приобретения людей, убеждения их, получения.

Для доказательства достаточно процитировать, что мог людей уже отпавших от костёла, потерянных для него, склонить к выбору, согласному с католиками, что умел привести к согласию злейших врагов, какими были маршалек Фирлей и воевода Зебжидовский, Радзивилл и Ходкевич.

Ревностный католик, когда этого требовал интерес церкви, умел Коммендони дело религии якобы отложить в сторону, не касаться его, сделать менее важным; отрицал пропаганды, преобразования, закрывал глаза на требования в целом противные его убеждениям.

Он привлекал на свою сторону людей сначала сладостью и мягкостью, только потом к их совести пробовал взывать. К преобразованиям снисходительный и неумолимый, он никого не избегал, никого не презирал и совершал также чудеса, насколько они могли быть исполнимы.

Противостояние разводу короля, удержание его верным церкви, когда дело шло о немногом, чтобы Польша отпала от Рима и отступилась от него, – уже можно считать за настоящее чудо ловкости и такта Коммендони.

Ходкевич и Радзивилл приветствовали его с великими знаками уважения. Коммендони шёл к ним с радостным лицом, улыбающийся, мягкий, с выражением отцовской нежности к обоим.



Не было больше никого, кроме только этой четвёрки. Каким образом Талвош сумел подползти к ним незамеченным, он сам бы, может быть, этой дерзости, которая ему счастливо удалась, объяснить не смог. На случай, если бы товарищ кардинала, который внимательно обзревал кругом, его заметил, имел он готовое объяснение: хотел притвориться спящим в зарослях.

Счастьем, не догадались даже, что в совершенно пустом лесу могла находиться живая душа.

– Меня несказанно утешает, – начал после приветствия Коммендони, – что, предвидя события, мы можем посовещаться, предотвращая катастрофы, какие бы на это прекрасное государство, будущее оплотом христианства, могли упасть, если бы его отдать пришлось на произвол судьбы, моменты расстройств в умах и тревоги. Король не жилец. Мы свяжемся торжественной клятвой, что то, что между собой решим, останется тайной.

Ходкевич и Радзивилл что-то невразумительно замурчали, склоняя головы, кардинал положил руку на грудь и говорил дальше.

– В эти минуты, решительные для будущего, от Литвы зависит судьба всего государства. Не подлежит сомнению, что поляки должны выбрать королём того, кого вы выберете великим князем. Так всегда бывало, так будет и теперь.

– Уния действительно полезна, – отпарировал мрачно Ходкевич, – но Литва ей не удовлетворена. Оторвали принадлежащие нам земли... В союзе с Польшей мы хотим оставаться, но ей подчиняться и ею поглощены быть не должны.

– Ежели вашу независимость вы сумели до сих пор сохранить, – прервал кардинал, – тем паче её установите на будущее, ежели меня послушаете. Вам обеспечит её один из императорских сыновей, если его выберете.

Ни Ходкевич, ни Радзивилл не протестовали против этого, смотрели друг на друга только, разгадывая себя взаимно, и молчали.

– Чтобы поддержать эту элекцию, нужно так же приготовить вооружённую силу и не мешало бы иметь двадцать тысяч всадников.

Это наберётся легко! – проговорил Радзивилл.

– Эрнест или другой из императорских сыновей, – добавил кардинал, – может жениться на принцессе, чтобы той связью упрочить свои права.

Ходкевич нахмурился.

– Принцесса никаких прав уже не имеет, – отпарировал он высокомерно. – Однако же от наследования своего над нами король отказался, когда создавал Унию, поэтому и наследование после себя никому не может передать. Мы свободны пана себе выбрать, как хотим.

Кардинал взглянул на него.

– Я думаю, – сказал он мягко, – что привязанность к бывшим панам, если не у всех, найдётся ещё у многих на Литве. Чувство это следовало бы уважать и не исключать его из расчёта.

Нахмуренный Радзивилл не вступился за права принцессы, мысль его, казалось, где-то бродит.

– Император, – отозвался он, – будет для нас, несомненно, лучшим паном и защитником, но в Польше он имеет много неприятелей.

Коммендони усмехнулся.

– Те переменятся, – сказал он, – не бойтесь. Преимущества от выбора члена императорского дома так велики для страны, для Костёла, для целого мира, что его в итоге все должны признать.

– А если поляки будут сопротивляться выбору, – прервал Ходкевич, – тем лучше, разорвём унию. Не принесла она нам никаких преимуществ, а потеряли на ней много.

– Не говорите этого, сохрани Бог, – начал мягко Коммендони. – Ослабели оба государства, а что, как вы говорите, есть спорные границы и владения некоторых земель, что же, если

до войны между ними могло бы дойти. Воспользовались бы этим враги св. креста, турки и подстерегающий ваши земли царь московский. Литва, хотя бы что-то пожертвовала нам даже для Унии, не столько значит, удерживая её, сколько бы могла потерять, разрывая.

Ходкевич не настаивал, но не казался убеждённым, пробормотал только:

– Император нам нашу независимость, какую мы сохраняли до этого, должен гарантировать.

– Гарантирует! Утверждает! – воскликнул кардинал. – Именно поэтому вы первые его выберете, он будет обязан вам трон и делам вашим даст приоритет.

– Он должен вернуть нам отобранные земли, – добавил упрямый Ходкевич.

– Это вы себе при выборе обеспечите, – вставил Коммендони.

– А староства и должности, – продолжал дальше литвин, – только урождённым литвинам должен раздавать...

– Могу вас заверить, что все эти условия будут приняты, – начал приткно Коммендони, хватая за руку Ходкевича. – Мы тут не о них говорим, но нужно согласиться на выбор. У вас есть, в чём упрекнуть его? – добавил он, обращаясь к Радзивиллу.

Названный только молча склонил голову. Обеспокоенный Ходкевич настаивал снова на независимости Литвы и освобождении от Унии, на возврате земель и оторванных поветов.

Коммендони обратил разговор на более личные отношения, ручаясь за императора, что тем, которые первыми утратят ему дорогу к трону, сумеет наградить их любовь и доверие и что ждут их самые высокие достоинства.

Ни Ходкевич, ни Радзивилл, казалось, не придавали значения тому, а, по крайней мере, не показывали один другому, что могли иметь личные виды на это.

– Значит, Литва пусть превосходит, – добавил кардинал. – В Польше могут быть предложения и разбитые голоса, вы за собой потянете разрозненных.

– Эрнест, императорский сын, ежели на него падёт выбор, – наконец-то отозвался Радзивилл, – должен быть начеку своей особой, чтобы мы подняли его на княжество и короновали. Он должен заранее приблизиться к границам.

– И я полагаю, что ему ничто не угрожает, когда доверится литовскому народу, – добавил кардинал, – может не колебаться.

Ходкевич подтвердил это. Не было уже спора. Ни кардинал, ни один из прибывших отнюдь не вспомнил о принцессе Анне, так как её прав не признавали.

– Следовательно, я имею ваше слово и могу на него рассчитывать? – спросил, всматриваясь по очереди в обоих, Коммендони.

Радзивилл посмотрел на Ходкевича, который уже не сопротивлялся.

– Мы сделаем, что в наших силах, – изрёк Радзивилл.

– А в силах вас двоих, милостивые господа, – продолжал далее Коммендони, – есть всё. Если хотите в этом деле быть согласными, страна пойдёт за вами, противостоять никто не сможет. Старые путаницы и недоразумения следует забыть.

Воцарилось молчание.

– Я настаиваю на поспешности, – отозвался ещё раз кардинал. – Нужно, чтобы Литва опередила Польшу и дала ей хороший пример, от этого всё зависит. Она первая, выбрав Эрнеста, получит большие права на его сердце и благодарность. Он молод и воспитан набожной матерью, поэтому костёл будет опорой и вам опекой против тех, что хотели бы разделить под видом веры, когда она наилучшим и единственным остаётся сплочением народа.

– Император, надо думать, пришлёт нам кого-то от себя, – вставил Ходкевич, – чтобы мы лучше могли договориться.

– Я так думаю и склоню его к этому, – ответил Коммендони. – Пусть будет благодарность Богу, если король не выживет, а смерть его вас осиротит, не будьте неприготовленными.

И по очереди, сначала Радзивилла, потом Ходкевича поцеловал, обнимая, кардинал, обещая им благословение и молитвы святого Отца.

– Я доверяю, – произнёс он, – известной мне верности императорского дома апостольской столице; однако же, если не для сегодняшнего дня, то для будущего, я бы посоветовал вам, чтобы от будущего короля потребовали восстановление того вырванного капитулом и справедливо им принадлежащего права, чтобы между собой выбирали епископов.

Самые набожные монархи правят, назначая их от себя, скорее тех, что им удобны, нежели, что отвечают интересам церкви. Всегда безопаснее, когда церковь остаётся независимой от государства, так как может на стороне прав народа, в случае, если бы были под угрозой, занять преобладающее положение.

Говоря это, Коммендони посмотрел по очереди на обоих. Радзивилл соглашался, Ходкевич оставался равнодушным. Одна только независимость Литвы и обособленность её от Польши интересовала его сильнее.

Талвоц только раз услышал упомянутое имя принцессы, но в эти минуты кардинал вместе с сопровождающим его не спеша направился к своей карете, а поредевший лес в этом месте не позволял подползти дальше незамеченным.

Поэтому он был вынужден остаться в кустах и видел только, как на полдороги литвины попрощались с кардиналом и как он быстрым шагом направился к своей карете. Ходкевич и Радзивилл, мало что говоря друг другу, медленно пошли к своим лошадям.

Хотя разговор, возможно, не весь уловил Талвоц и не мог запомнить его деталей, грустно ему сделалось, что Ходкевич отрицал все права принцессы, а Радзивилл также не заступался за неё.

Кардинал же об условии её брака с будущим королём почти не вспоминал, а потому вовсе не настаивал.

Следовательно, страхи были не напрасны, что тут что-то скрывалось, что угрожало бедной Анне.

Недолго теперь подождяв, пока уйдут Ходкевич и Радзивилл, Талвоц, который не боялся уже быть замеченным, как нищий, встал с земли и пошёл обратно к лодке, оставшейся у берега. Ему посчастливилось, но то, что он услышал, вовсе утешительным не было.

Больно застряло в нём, что с таким сильным убеждением изрёк Ходкевич, что принцесса совсем никаких прав не имеет и ни к какому наследству допущена не будет.

Казалось ему это дерзостью, невозможностью, хотя Ходкевич, вероятно, говорил это не от себя, но зная о расположении значительной части страны. Не поддакивал ему Радзивилл, но также не возражал и за принцессу не заступался.

Начинало смеркаться, когда, идя по берегу, Талвоц счастливо добрёл до своей лодки, нашёл её на месте и сел, чтобы на ней вернуться в замок. Теперь ему приходилось труднее грести против довольно сильного течения реки и для быстроты он был вынужден держаться берегов, а вёсла использовать для отталкивания. Он прилично с этим намучился, и прошёл кусок времени, прежде чем наконец послышались колокола, зовущие на вечернюю молитву, и прибыл в город, откуда незамеченным мог попасть в замок.

Бобола, его товарищ, как раз вернулся из города и пытался зажечь огонь для освежения воздуха, когда Талвоц в этих лохмотьях, в которых выкрался отсюда, вбежал в комнату.

– А что же с тобой случилось? – крикнул удивлённый конюший.

– Не спрашивай, не говори об этом, – отпарировал Талвоц. – Знай, что мне надо было переодеться, но зачем и для чего, этого тебе поведать не могу.

Бобола покачал головой.

– Доиграешься ты, – сказал он коротко.

В один момент литвин живо избавился от лохмотьев, отмыл лицо и руки, надел повседневную одежду и убежал, потому что ему было срочно дать отчёт в экспедиции перед Досей.

Та ждала его, беспокойная, прохаживаясь по двору. Увидев его, хотя всегда старалась показаться ему равнодушной, в этот раз поспешила навстречу.

Талвоц в коротких и простых словах всё ей рассказал.

Умная девушка жадно слушала.

– Нет смысла спешить с этим к принцессе, – сказала она, – я хорошо узнала о заговоре кардинала, хотя это вещь не новая. Но теперь и помощи нет. Господь Бог вам за честное сердце заплатит, – добавила она. – Новость за новость... я вам тоже скажу, что обозный Карвицкий наконец добился от короля сегодня, что завтра примет сестру. Принцесса и рада этому, и плачет. Послезавтра, если королю не станет хуже, его собираются отсюда вывести, быть может, даже завтра.

– А мы? – спросил Талвоц.

– Кажется, что мы останемся в замке, никто о нас не думает, принцесса эпидемии не боится, а хотя она уже поблизости, в городе её до сих пор нет. Легче нам тут и жить, и людей найти, и справиться, хотя бы у нас только староста Вольский был.

За королём ехать нам не дадут, поскольку сейчас более чем когда-либо не хотят допустить, чтобы кто-то глядел, как умирающего раздевать будут.

Талвоц слушал, не прерывая, и пользовался этим мгновением, чтобы глазами поедать красивую Дося, которая обычно ему на себя смотреть особенно не позволяла.

Он болезненно вздохнул.

– Вольский сегодня принцессу немного развеселил, – добавила Заглобянка, – потому что привёз ей карлика, польского шляхтича, который долгое время пребывал на французском дворе и много о нём говорил. Он занял этим нашу пани. Благодарение Богу, и давно я не видела её такой оживлённой, такой заинтересованной и занятой, как сегодня повестью этого карла. Жалинская и то имеет на неё зло, постоянно на неё дуетя и жалуется...

Она не закончила.

– Если бы так меня спросили, – пробормотал Талвоц, – я давно бы эту ягу и землеройку выпроводил отсюда на четыре ветра.

– Цыц! – ответила, оглядываясь, Заглобянка. – Принцесса её сносит и даже любит, хоть она ей очень докучает. И мы должны сносить.

– Но она всем уже кость в горле.

Девушка улыбнулась и, кивнув головой Талвоцу, тут же возвратилась к принцессе.

Литвин сел на скамейку при дверях и размышлял, что делать.

Думал он о принцессе или Досе – трудно было понять – брови его стягивались, руки напрягались и опускались, он думал так, даже забыв об ужине, когда подросток от пана Конецкого, охмистра принцессы, а, скорее, его заместителя, потому что у Анны его давно уже не было, прибежал напомнить, что миски были на столе, а с едой не ждали никого. Талвоц поплёлся за ним.

\* \* \*

Крайчий и подचाший, напрасно стремясь принцессе к брату не подпускать, когда это оказалось невозможным, тянули встречу брата и сестры до последнего дня перед отъездом Августа из Варшавы и постарались о том, чтобы была как можно короче.

Когда обозный Карвицкий припомнил королю эту обязанность и настаивал на приёме Анны, король назначил день, согласился без труда и не показал уже ни малейшего пренебрежения и неохоты. Он чувствовал в этих последних часах своей жизни, что вина недоразумения не лежала на принцессе, но на нём одном.

Справедливое возмущение Анны вызвало то, когда обманом с её двора выкрали для короля Ханну Заячковскую. Крайчий и подचाший старались гнев сестры обрисовать такими

красками, что разъярили короля до наивысшей степени. Стремилась потом, пользуясь этим, чтобы примирения не допустить, разносили слухи, клеветали на Анну и, если бы не старания Карвицкого и Жалинских, возможно, до перемирия никогда бы не дошло.

Объявленное прибытие принцессы, которую её тогдашний охмистр Конецкий и Жалинская хотели сопровождать, выгнало обоих королевских фаворитов, не смеющих показаться на глаза Анне. Они должны были скрыться, равно как более деятельные их помощники.

На эту аудиенцию был назначен утренний час; заранее объявили, что больного короля сестра долго задерживать не могла, и никакими жалобами и сожалениями не беспокоила. Доктор Фогельведер один собирался быть свидетелем встречи, так как Карвицкий хотел остаться у двери, которую охранял недостойный, развратный жулик Княжник.

Встать с ложа король не мог, не думал; покрыли его шёлковым плащиком и он остался лежать с прикрытыми ногами.

Действительно, это был для обоих торжественный час; принцесса Анна знала наверное, что брата уже не увидит живым, что имела попрощаться с ним навеки. И он так же не надеялся выжить и чувствовал себя по отношению к сестре виноватым. Одно то, что он сам был очень несчастным, должно было выхлопотать ему прощение.

С того времени, как они с Анной не виделись, перемена в лице Августа была чрезмерна велика, ужасна и значительна. Истощение, желтизна, обострённый временами взгляд и вдруг сонный и измождённый, неразборчивая речь, глухой голос, громкое и тяжёлое дыхание делали его на вид страшно похудевшим и словно догорающим.

Временами его охватывала как бы горячка и раздражение, чаще, однако, он впадал в род сонной апатии, в оцепенение равнодушия ко всему.

Когда час, в котором принцесса хотела подойти, приближался, король легко его мог узнать, потому что те, что обычно не отступали от его ложа, неожиданно исчезли, остался Фогельведер; в комнате было пусто, в соседней тихо.

Шелест одежды и медленная походка направили взгляд больного на дверь, он немного приподнялся, беспокойный.

На пороге послышался шёпот, дверь медленно отворили. Карвицкий впустил одетую в чёрное, ступающую шатким шагом, смешанную, бледную принцессу Анну. За ней шла Жалинская, которая задержалась на пороге.

Волнение пришедшей было так велико, что должно было разразиться слезами, но тихими; она прижала к устам платочек, склонила голову, и несмело, не говоря ни слова, покорно подошла к королевскому ложу.

Вид брата, на лице которого уже смерть запечатлела своё клеймо, разоружил жалующуюся и скорбящую.

Чем же были её личные страдания в сравнении со страданиями этого умирающего и отчаявшегося последнего из рода, который сходил один, без семьи, измученный отчаянием, утомлённый жизнью, без какого-либо самого маленького утешения.

Август достал из-под одеяла бледную дрожащую руку и протянул к сестре, которая схватила её и с чувством поцеловала.

Только теперь их взгляды встретились. Король глядел на сестру без гнева, мягко, спокойно, как если бы всё прошлое ушло в забвение. Он шептал, но услышать она ничего не могла.

Анна хотела что-то поведать, но голос ей изменял, не имела дыхания. Только после передышки, видя его таким страдающим, а в нём вместе короля, отца и брата, почитая главу семьи, она сказала покорно:

– Если я в чём ошибалась и была причиной какого негодования вашего королевского величества, соблаговолите меня простить. Злой воли не имела и злые люди, пожалуй, приписать могли её мне.

Король, несомненно боясь, как бы дальнейший разговор в этом предмете не был причиной взаимных раскаяний, живо прервал:

– Следует взаимно друг друга простить. Ты убедишься в завещании, которое тебе отдаю, что я о тебе помнил, и не позволил, чтобы родство тебе было во вред. Будь здорова...

Голос ослаб, он снова вытянул руку – Анна расплакалась.

Затем Август дал знак Фогельведеру, который догадался, о чём речь, и подал ему лежащее на столе завещание, чтобы тот отдал принцессе.

Как бы исполнив эту обязанность, ему было срочно расстаться с Анной, ещё раз попрощался с ней король, она поцеловала ему руку и, рыдая, с закрытыми глазами, вышла, поддерживаемая Жалинской, которая сразу, выйдя за порог, по-своему начала выговаривать и гневаться.

Но бедная принцесса ничего не слышала и не знала, что с ней делается.

Королевский отъезд был запланирован на следующий день; между тем, после прощания испуганные паны крайчий и подчаший, опасаясь большего сближения и заключая, что сердце брата для сестры пробудилось, немедленно после ухода Анны, вбежали, доказывая, что и ясным днём, и небольшим улучшением здоровья короля следовало воспользоваться. Они имели за собой доктора Рупперта и всю свою толпу подхалимов.

Ни обозный Карвицкий и никто не мог им противостоять, король слушал их, ведя себя пассивно, не сопротивляясь ни в чём.

Специально за несколько дней уже приготовленную огромную повозку закатили под самые замковые двери.

Могла сбежаться публика посмотреть совсем необычную и невиданную колебку, которая была построена для короля. Её размеры, гигантские колёса, толстые оси, подвесное покрытие на столбиках, алая опона, ступени для слуг, которые, стоя на них, должны были охранять короля и спешить на его вызов, восьмиконный цуг коней, толстых и сильных, приготовленных для передвижения этого ковчега, – всё это действительно привело толпу любопытных.

Поскольку крайчий и подчаший правили тут всем, на знак, данный ими, волшебным сразу наполнились двory конным людом, службой, челядью, каретами.

Было необходимо срочно вывезти Сигизмунда Августа, чтобы отлучить его от сестры и влияния её не допустить.

Несмотря на её мягкость, безоружность, униженность, безжалостные голоса делали Анну ужасной, предвидели в ней вторую Бону.

Даже сам ксендз Красинский, потакая королю и Мнишкам, всех от принцессы удалял, остерегал, чтобы к ней не приближались.

Анна, плача, шла в свои покои в замке, ничего не ведая о внезапном решении отъезда; даже, может, льстила себе, что, переломив первый лёд, сумела получить брата.

Окружающий её шустрый двор поздравлял, радовался, пророчествовал согласие и не догадывался, что в эти минуты Мнишки приказали закатить повозку, челяди – садиться на коней, а короля склонили к внезапному отъезду.

Так ускорили все приготовления к нему, что меньше чем через несколько часов служба уже несла на плечах больного пана к запряжённой повозке, при лошадях которой стояли слуги, каждый держа свою за уздечку. С немалым трудом ложе на повозке пришлось установить так, чтобы при каждом её толчке, оно не дёргалось и не наклонялось.

Свежий воздух, которым Август отвык было дышать, раздражал ему грудь, сам этот отъезд с такими приготовлениями производил на него удручающее впечатление. Он знал, что сюда уже не вернётся. Бледный, он бросал вокруг блуждающие взгляды, словно ища помощи, и Фогельведер не мог отойти от него ни на шаг.

Крайчий, подчаший, самые любимые слуги, Княжник, казначей Конарский, хирург Лукаш, Мацей Жалинский, смотритель ложа, окружали повозку, цепляясь вокруг.

Двор представлял вид необычный и грустный, спешка приводила к беспорядку, люди разрывались, бегали, кричали, отталкивали теснящуюся толпу, заслоняли лежащего короля, а Мнишки торопили, чтобы как можно скорей двинуться из города.

Возницы, слуги, пажи стояли, беспокойные.

По данному знаку все восемь коней двинулись с места и тяжёлая повозка заскрипела, но как бы на несчастливое предзнаменование, одна из лошадей упала на колени и поднять её было невозможно. Воз с ложем остановился.

Конюшие бегали, проклиная службу, король беспокойно выспрашивал, что случилось. Потребовалось четверть часа, прежде чем снова коням дали знак, и медленно, как с траурными носилками, двинулся наконец экипаж к воротам.

Слуги так плотно отовсюду закрыли шторы и держали их пристёгнутыми, что никто ни ложа, ни лежащего на нём короля заметить не мог.

Далеко в этот день Мнишки, наверное, не думали вывезти короля, речь была только о том, чтобы он оставил Варшаву. Это объясняли заботой о пане по причине приближающейся эпидемии, когда в действительности дело касалось последствий примирения с сестрой, которой слишком дали знать, что её мести не боялись.

Принцесса утешалась ещё тем признаком доброго сердца, какой дал ей брат, ещё говорила о нём, соблезнуя над здоровьем и обещала себе, что завтра, допущенная, сможет восстановить отобранное доверие, когда вбежал в комнату Талвош.

– Короля вывозят! – воскликнул он.

Все вскочили.

– Не может этого быть! – выпалила принцесса. – Он собирался ехать только завтра. Может, пробуют повозку.

– Так есть, как говорю! – подтвердил живо литвин. – Я смотрел на то, как ложе с ним снесли и на повозку укладывали.

Ошеломлённая принцесса, ломая руки, как стояла, вместе с Жалинской выбежала к воротам со второго двора, выходящими на первый, откуда видно было всё, что на нём делалось.

Тут царили беспорядок и замешательство, королевская служба вышла, повозки уже не было видно.

Проходящий придворный, спрошенный, подтвердил, что короля как раз уже вывезли.

Хотя эта поспешность была неожиданной, отъезд внезапным, Жалинская по-своему это объяснила, не видя ничего чрезвычайного, ничего такого особо неблагоприятного для Анны.

Наполовину онемевшая, вернулась принцесса в свои комнаты, размышляя, что теперь предпринять. Было неизвестно, подумал ли Август о том, чтобы обеспечить сестре приличные положение. Не хватало денег, приказов, опеки над ней.

Паны, которые могли ей быть в этом полезны, вместе с королём выехали из Варшавы; всё, что жило, намеревалось по причине приближающейся эпидемии и запустения замка, разойтись.

Анна оставалась тут полной сиротой на милость варшавского старосты, который не много мог и имел права для неё сделать.

Поэтому она снова расплакалась, а невыносимая Жалинская, когда та зарыдала, вместе разразилась упрёками и нареканиями, что Анне ничего достаточно не было, что себе придумывала проблемы, чтобы могла их оплакивать.

Анна была такой привыкшей к этим выговорам, что они мало производили на неё впечатления, что ещё больше провоцировало и выводило из себя Жалинскую.

В таких случаях одна Дося Заглобянка могла чем-то помочь, провожая принцессу в её спальню и стараясь удалить Жалинскую.

Она посредничала, смягчала, примиряла, а когда иначе не умела, гнев и фуканье охмистрины оттягивала либо на себя, либо на кого-то, кто её равнодушной мог переносить.

Неожиданный отъезд короля сразу же после свидания с сестрой значение которого поняли придворные и друзья Анны, вызвал общее возмущение.

Если эпидемия, идущая с Окунева, ожидаемая в любой день, имела здесь разразиться, нужно было бежать и принцессе. Куда? В чём? Об этом никто не заботился.

Талвоц побежал на разведку, не было ли каких распоряжений или приказов, касающихся принцессы? Никто о том не знал, никто ею не занимался.

Мнишки и епископ Красинский, действительно, не предусмотрели завещания в пользу Анны, но сумели между тем сделать её сиротою, беспомощной и на милость народа, который в эти минуты больше думал о собственном угрожающем ему сиротстве, чем о судьбе принцессы.

В городе, по которому молниеносно разошлась новость о вывозе больного короля, она произвела страшное впечатление. Говорили, что это бегство свидетельствовало о подходящей чуме, поэтому, кто мог, хотел также покинуть город.

Из постоянного двора «Под белым конём» видели огромную повозку, тянущуюся Краковскими воротами. Барвинек заломил руки, потому что это также извещало о скором запустении.

Немечковский стоял как раз в воротах, когда начали выдвигаться из замка; он догадался, что это значило, и объявил, что он также выезжает отсюда.

Староста Вольский, который только назавтра ожидал отъезда, когда узнал о нём, сел на коня, чтобы догнать короля и попрощаться, но Фогельведер его не допустил, утверждая, что дорожная качка усыпила больного.

Таким образом, он вернулся в замок, для того чтобы проведать о принцессе, и прибыл в самое время, дабы её утешить.

Она обрадовалась, когда ей сообщили о нём, и немедленно вышла, заплаканная.

– Пане староста, – воскликнула она, – насилу пару часов назад, когда я имела это счастье приблизиться к королю, по причине слёз и волнения мы могли только перемолвиться несколькими словами, я надеялась увидеть его завтра... похитили и увезли!

– А ваша милость, что думаете делать? – спросил Вольский.

– Я? Ждала воли и распоряжений короля, – ответила Анна. – Не знаю, что предпринять. Не могу узнать, выдал ли он какие распоряжения. При Божьей помощи, эпидемии не боюсь, сидеть буду, пока от брата не получу ведомости, что хочет, чтобы я решила для себя.

– Я также, – отозвался староста, – гнался напрасно за панским возом, желая ему поклониться. Не допустили меня под отговоркой, что он уснул в дороге.

– Я теперь на вашей опеке, – прибавила грустно Анна. – Благодарение Богу хоть за то, что отъехал, не имея предубеждения ко мне, что могла умиловить его за не свою вину. Сегодня с утра он дал мне короткую аудиенцию. Она, может, продолжалась бы дольше, но они следили за ним, чтобы у него честное, братское сердце открыться не могло.

Принцесса заплакала.

– Милостивая пани, – проговорил Вольский, – слёзы тут не помогут, надобно мужество и великое сердце, так как, не дай Бог, придёт минута, когда на мужестве вашей милости будут покоиться судьбы народа.

Чудо может случиться и здоровье вернётся, но такому, как сегодня, королю доктора не обещают долгих дней. В предвидении этого несчастья во всей стране распространяется беспокойство и тревога. Король жив, а уже бегают к чужеземным панам послы и шпионы, объединяя им друзей.

Император Максимилиан до сих пор кажется из всех наиболее деятельным, а оттого, что имеет за собой кардинала, который станет за многих, лишь бы мы в неволю к австрийцам не попались.

Принцесса с любопытством слушала, вытирая слёзы.

– Это ваша вещь, – отозвалась она, – предотвратить заранее, чтобы вам вреда не было.



– А вместе и вашей милости, – добросил Вольский. – Я к императорским не отношусь, а предпочёл бы, чтобы вы могли получить французского принца, которого рекомендовал карлик.

Принцесса Анна зарумянилась, но Вольский не мог заметить перемены на её лице, потому что по-прежнему вытирала слёзы.

– Крассовский так же, как здесь, – добавил Вольский, – панам Зборовским поведал о герцоге Анжуйском и ручается, что они приняли очень близко к сердцу его кандидатуру на корону.

– Всё это рано, – шепнула принцесса.

– Милостивый наш пан, если бы даже ему Бог соблаговолил продлить жизнь, – подхватил Вольский, – всегда бы сам даже, будучи бездетным, должен думать о выборе преемника, причём будущую судьбу вашей милости мог и должен был обеспечить.

– А! Мой староста, – тоскливо и грустно отозвалась принцесса, – моя судьба для всех будет последней вещью, о которой подумают. Я на сиротство без опеки приговорена.

– Нет, – возразил Вольский, – ежели ваша милость захочет только из-за одного достоинства своей крови о правах своих упомянуть и вместо слёз показать энергию и настойчивость. У меня лучшее предчувствие. После этих грустных дней Бог и нас, и вашу милость наградит самыми ясными.

Не смела принцесса напомнить старосте ни об оставленных у неё изображениях королевской семьи, ни о Крассовском, которого ещё видеть желала, но сам Вольский намекнул, какое милое имел общество карла, который пребывал в его доме, спрашивая принцессу, позволит ли она ему ещё раз поклониться ей.

Анна вкратце согласилась на это, спрашивая, что дальше с собой думает этот гость предпринять: останется ли в Варшаве или выберется назад во Францию.

– Не знаю, – сказал староста, – но мне кажется, что, посетив в Подлясье семью, сначала вернётся к панам Зборовским, которые ему очень симпатизировали, а те, видимо, так принимают Генриха к сердцу, наперекор тем, что уже сегодня сносятся с императором, что готовы использовать Крассовского, как инструмент.

Новый румянец покрыл лицо Анны, которая ничего не ответила.

Вольский вскоре с ней попрощался, но сразу на следующий день появился здесь снова, привезя с собой Крассовского.

Карлик, как бы хотел показать, что принял обычаи французского двора, нарядился ещё старательней, чем в первый раз, и было ему дивно к лицу в этих одеждах, так шитых, украшенных, изысканных, словно предназначены были самой привередливой женщине.

Начиная от платья и плащика даже до шляпы и цепочки – всё снова было другое, новое и подобранное, чтобы всё составляло красивую целостность.

Более смелый теперь, весёлый, Крассовский рассказал об изысканных забавах двора, о дворцах и королевских резиденциях, о великолепии королевы, о её великом и необычайно хитром уме.

Мало что говоря о короле Карле, перешёл сразу к герцогу Анжуйскому, любимцу матери, который наследовал её ум и талант... а и очень могло быть, что и французский трон позже мог достаться ему.

Принцесса увлечённо слушала, хотя ни спрашивать, ни показывать не смела, что это её весьма интересовало.

Ей причиняло сильную боль, что, слушая о великолепии, об изысканности двора, к которому карл был привыкшим, сама так убого и скромно, сиротски его принимала. Поэтому бросила она словечко о том, как она и брат были в путешествии, а по причине слабости короля всё нарушалось.

Крассовский, коему хватало рассказов о дворе, о самых главных особах, окружающих молодого короля и королеву-мать, рассказывая о разных приключениях, о забавах и занятиях,

несколько часов занимал принцессу и, должно быть, её действительно заинтересовал, когда прощающемуся она забыла отдать оставшиеся изображения.

Она вспомнила о них слишком поздно, когда уже староста с Крассовским сели в колебку, а посылать их за ними устыдилась. Таким образом, они остались ещё при ней... и бедная принцесса порадовалась в душе, что могла лучше присмотреться к этой своей надежде, которой стыдилась, но отречься не хотела.

Всё как-то так складывалось, как если бы Провидение, смилостивившись над ней, хотело за долгие дни слёз и тоски, за покинутость и сиротство неожиданно наградить её великолепной судьбой.

Сердце её билось от той мысли, что и она могла иметь семью, мужа, детей... собственную волю и силу доброго служения людям, когда теперь, связанная, даже не имела причины быть милосердной.

Это имя Генриха ей постоянно повторялось, образ нареченного юноши мелькал перед её глазами.

На самом деле австриец Эрнест был также молод, был императорским сыном, но какое-то отвращение и страх она чувствовала к этому дому, союз с которым никогда Польше счастья не приносил. Августу одна из эрцгерцогинь дала с собой траур, другая – долгие мучения и отчаянные года борьбы.

Глаза принцессы обратились к Франции и в сердце вступила надежда.

\* \* \*

Никогда, может, ни одна женская веточка великого царствующего дома не находилась в таком положении, в какое принцессу Анну каждую минуту ожидаемая смерть брата могла поставить.

Из многочисленных братьев и сестёр, всё, что жило, было рассеянно и разбито. Август кончался равнодушный уже ко всему на свете, уходя бездетно, последним из рода.

Шведская королева, претерпевшая много и страшно, была целиком теперь предана своей семье и стране, над которой царствовал её муж. Между ней и Анной продолжались отношения, бегали письма, но доказательств большой любви Катерина не давала, больше требуя от Анны, чем принося ей, беспокоясь главным образом о наследстве после матери и братьев.

Дела об этом наследстве представляли самый крепкий узел, который королеву Катерину связывал с Польшей и сестрой.

Нежности сердца, сострадания не было и в письмах.

Напрасно Анна своими покорными, послушными письмами старалась пробудить в сестре чувства, которыми было охвачено её сердце.

Юхан III, муж Катерины, зная о том, что врачи приговорили Августа на смерть, сам уже думал о польском троне, о соединении двух государств. У него был младший сын Сигизмунд<sup>4</sup>, которому так же, ежели не себе, он рад был обеспечить корону.

А Анна? Анна уже в то время была готова для брата и племянника, которого любила как собственного ребёнка, отказаться от своей мечты и своих прав.

Об этом ребёнке сестры, присваивая его за собственного, она писала, узнавала, хотела быть ему матерью. Её сердце требовало кого-то, чтобы любить и посвятить себя могло.

С княгиней Брунвицкой, второй сестрой, отношения были ещё более близкие, более сердечные со стороны Анны и отмеченные такой смиренностью, отдачей себя, послушанием, жертвенностью, как если бы София платила за эти чувства. Между тем княгиня Брунвицкая обходилась в своих письмах, написанных к Анне, довольно грубо с ней, злоупотребляла важ-

---

<sup>4</sup> Будущий король Польши и Швеции Сигизмунд III (1587–1632)

ностью, требовала, приказывала, редко вежливым словом отвечала Анне, которая унижалась перед ней.

Более могущественная, имеющая, более свободная княгиня Брунsvицкая редко в чём помогала Анне, чаще всего требовала от неё жертв, внимания, и хмурилась, когда её приказы тут же не выполнялись.

Со стороны принцессы шли дары за дарами, всякого вида услуги, а от княгини с трудом в самые тяжёлые часы могла выпросить какой-нибудь маленький заём.

София обходилась с ней как наставница, учительница, принимая протекторские тона. Но из их двоих, шведской королевы и принцессы Брунsvицкой, последняя была ещё к Анне более сердечной, больше сестрой.

Мы видели к каким грустным последствиям привели дворцовые интриги, отделяя Сигизмунда Августа от сестры. Она не могла ему простить того, что на одном дворе, под одной крышей ей приходилось жить с Гижанкой и её «щеночком», с бесстыдной Орловской, ведьмой, иными бабами, что из-под её опеки украли Заячковскую, сватая королю как супругу.

Мнишки рисовали нерасположение Анны и предубеждение к брату в таких красках, что его сердце отворотили от неё. Только в момент писания завещания, хотя епископ Красинский, льстя Августу, так же был против Анны, дрогнула совесть короля и он не обидел её, но, как надлежало, сделал наследницей значительнейшей части своего имущества.

Это было наилучшее доказательство, что больной король поддавался фаворитам, но чувствовал свой долг и на смертном одре хотел за причинённый вред наградить.

Среди более известных дам, которые в эти минуты так же при короле и в королевстве занимали главнейшие положения, принцесса не имела почти никого, на кого могла бы рассчитывать.

В Малой Польше совсем не занимались и не думали о ней, а в Литве заранее отказали во всех правах, не только как наследницы страны, но даже от наследства после царствующего.

Князь-подканцлер Красинский, не вторя королю, а в деле поддерживая Мнишков, громко говорил, что, кто хотел иметь милость у пана, не должен был ни бывать у принцессы, ни поддерживать с ней отношений.

Из более могущественных и значительных, как друг, опекун, как верный слуга Ягелонов, поэтому и Анны, а в особенности княгини Брунsvицкой, выступал референдарий Судзивой Чарнковский, фигура, характерная для своего времени, неоднозначная, двуличная, в действительности совсем иная, чем казалась на первый взгляд.

Привязанность его к Ягелонам и Ягелонкам была прикрытием полной преданности императору Максимилиану, дело которого Чарнковский чересчур ловко поддерживал, но делал это так секретно, так умело, чтобы тот не потерял популярности и не восстановил против себя никого. Для Чарнковского судьбы собственной страны, а тем более Анны, не были вещью первой и главной – интерес императора был превыше.

Притворялся привязанным к Анне потому только, чтобы, помогая ей, присматривать за ней и не дать ничего учинить против интересов Максимилиана. Чего не мог достичь один, то старался через княгиню Брунsvицкую, с которой был в близких отношениях, подействовать на Анну.

При короле Чарнковский до последнего часа так умел действовать, что ни Мнишки, ни Красинский его не боялись и не находили опасным. Служил, перевозил деньги, не сопротивлялся и даже не защищал Анну, чтобы не попадать в подозрение.

Ловкий, хитрый, проникательный, думающий только о себе, Чарнковский надеялся с выбором австрийского принца выплыть наверх и получить самые высокие должности. Никто не мог догадаться о его подземных ходах, хлопотах, расчётах и сети интриг, какими он опутывал принцессу.

Анна его ручательствам и клятвам, горячим заверениям любви к семье верила тем сильнее, не подозревая его даже в том, что интриговал, когда референдарий и ей и судьбой её готов был без угрозы совести пожертвовать императору.

Из могущественных панов и высших должностных лиц не имела принцесса больше никого. Наилучшего сердца, но болеющая, печальная, отказывающаяся, часто замкнутая в себе, неизвестно чем заранее создала мнение женщины, которая, по мнению многих, «могла быть второй Боной».

Её враги пользовались этим грозным выражением, выявляя в ней хитрую интриганку, которая всеми средствами могла добиваться власти. Эта клевета не имела ни малейшей основы, но однажды брошенное слово, когда пойдёт с уст на уста между людьми, имеет странную силу.

Самая мягкая из Ягеллонок, которая до сих пор не имела характера показать ловкости, начала походить на «вторую Бону».

Этого было достаточно, чтобы её отталкивать. Впрочем, судьбой сироты не занимался никто.

Можно было предвидеть, что люди могли её использовать как инструмент в своих расчётах, но для неё самой никто ничего делать не думал.

Привязанность к династии не была такой сильной, чтобы для неё хотели учинить малейшую жертву.

Так Анна была окончательно обречена на небольшого значения своих слуг – нескольких сочувственных, которые никакого влияния не имели.

Достойный обозный Карвицкий из-за своего доброго сердца и милосердия относился к ней доброжелательно. Ротмистр Белинский, как верный слуга семьи – с рыцарской готовностью мог встать на защиту притесняемой.

Один и другой всё-таки могли не много, влияния у них не было никакого, Карвицкий добился последней аудиенции, Белинский собирался позже встать на охрану наследства короля, для сохранения его принцессе.

К этим двум надобно причислить также как они верного королевской семье Рыльского, которым пользовалась то шведская королева, то княгиня Брунsvицкая, то Анна. Отпущенный для них, он ездил с письмами, с поверенными посылками, с устными рекомендациями; неутомимый, ревностный, но только это одно мог сделать, ничего больше.

Человек был маленький и незначительный.

Со смерти последнего охмистра<sup>5</sup> принцесса Анна не имела назначенного на его место преемника. Выполнял эти обязанности некий Ян Корецкий.

Это был добрый человек, доброжелательный для своей пани, верный, честный, но тесной головы, не видящий далеко, дающий себе по очереди внушать что кому нравилось. Тучный, крепкий, медлительный, придающий себе важность, которой удержать не умел, Конецкий постоянно совершал ошибки от добродушия и глупости.

Люди над ним шутили, но он всегда был рад от того, что делал, и никогда не давал убедить себя, что мог бы ошибиться.

Талвош, литвин, живой, деятельный, благоразумный, сын богатого землевладельца, попал на двор принцессы недавно, стечением странных обстоятельств, не найдя места при короле.

Возможно, он не остался бы здесь, потому что служба принцессе никакого будущего ему не обещала, но, к несчастью, его приковали красивые глаза Доси. Он стал одним из самых ревностных, самых ярых помощников осиротевшей пани.

Он отличался от других тем, что когда практически все старались удержать Анну в бездеятельности, спокойном выжидании, отказа от всяких усилий на свою руку, Талвош доказы-

---

<sup>5</sup> Управляющий двора.

вал, что принцесса должна была выступить активно в защиту своих прав и не забывать, что была Ягеллонкой, которой Польша и Литва всё-таки что-то были должны.

По этой причине Талвоц и с Конецким, и с другими постоянно должен был ссориться. Его находили опасным, хотели от него избавиться, но и он держался твёрдо и Анна постепенно начинала становиться смелей, слушать его, набираться энергии, какой никогда не имела.

Обстоятельства также подействовать на неё никогда не могли. Забитая, забытая, она всегда была вынуждена слушать Бону, которая для неё, как и для остальных сестёр, не имела сердца, слушать потом сестёр, подчиняться воле брата.

Едва пару раз разрешили ей объявить собственное убеждение, когда дело шло о браке сестёр, а Анна для них сделала из себя жертву.

Энергия, какой её наделила природа, отдыхала, словно усыпленная, служила только для сопротивления несчастьям, унижениям, давлений, которые сносила с важностью и высокомерием. Теперь в первый раз близкая и предсказуемая смерть брата призывала её к действию, к выступлению, к объявлению силы.

Талвоц пытался её в ней пробудить. После долгих лет бездействия это не могло пройти легко, впрочем, принцесса была окружена людьми, против которых должна была действовать с осторожностью.

Из мужского окружения, добавив доктора Чечера, молчаливого медика, который собирал травы, в политику не вдавался и мог развеселить принцессу, но помочь ей бы не сумел, ксендза Яна Бораковского, секретаря короля, ограничивающего себя духовным служением, не было при принцессе почти никого больше.

Из женщин при ней была давняя охмистириня Жалинская, которая теперь представляла бремя и полностью служению не отдавалась, так как по своим взглядам была готова пожертвовать принцессой.

Веря в то преимущество, какое ей давали долгие лета службы, Жалинская, которая имела сына двадцати с небольшим лет, пана Матиаша, парня, воспитанного до испорченности и честолюбия при дворе Сигизунда, заранее составила себе план создания для него такого положения при принцессе, чтобы ей, её имуществом и делами завладел.

С этой целью она держала его при себе, навязывала непрерывно принцессе, а, когда та довольно холодно принимала неприятные для неё услуги, гневалась, бурчала и не уступала. Смотрели уже косо на то, что Жалинская, живущая рядом со своей пани, в каморке при себе держала взаперти сына и велела ему даже тут ночевать.

Где было нужно посредничество, конфиденциальная беседа, Жалинская навязывала принцессе сына. Она велела ему писать письма, поддерживать регистры, вклинивала его где только могла.

Принцесса сносила терпеливо, но было видно, что её это тяготило.

Дерзкий, назойливый, распущенный Матиашек был тут, за исключением матери, большой доукой.

Жалинская, не в состоянии вынудить принцессу сдаться ей, постоянно теперь упрекала и самым нескромным образом бурчала. Упрекала её, что притворяется больной, что напрасно жалуется, что всем в тягость, что ей ни в чём нельзя угодить.

Старую нянюку, нудную и назойливую, принцесса переносила с ангельским терпением.

Настоящей подругой сердца, от которой Анна не имела тайн, была София из Смигла Ласка, коронная крайчина, давно с принцессами Софией, Катериной и с нею связанная воспоминаниями детства.

Крайчина одинаково любила княгиню Брунвицкую и Анну, но сейчас не могла быть с последней и только письмами они сносились друг с дружкой. Обещала, однако, приехать. Была это женщина деятельная, живая, любящая занятие, благородного характера, а прежде всего,

ненавидящая отдых. Ей было необходимо постоянно что-то писать, о чём-то стараться, что-то знать, чего никто не догадался.

Готова была подвергать себя опасности, работать, ездить, лишь бы не скучать от отдыха и безделья.

Крайчина была в сердце Анны единственной, а хотя рядом с ней стояли пани Элжбета Свидницкая и Элжбета из Гульчева Брудзевская, вдова лучицкого воеводы, и Зося Ласка, дочка воеводы серадского, ни одна из них не могла равняться крайчиной.

Брудзевская, немолодая, немного уже обременённая возрастом, не могла так активно служить принцессе, как хотела бы, Свидницкая не была свободной из-за семьи; Зося Ласка слишком молодая, чтобы, кроме веселья, улыбки и слова утешения, могла бы сюда что принести.

И все эти рассеянные подруги нескоро обещались прибыть, чтобы оживить одиночество Анны и разделить судьбу. Поэтому за всё утешение, как единственную наперсницу, имела Досю Заглобянку, которую воспитала, к которой привязалась, как к ребёнку.

Было это создание уникальное, разумное, храброе, готовое для Анны на всё, но, несмотря на безмерную энергию и хитрость, она могла не много; пожалуй, в доме и когда дело было о защите от Жалинской.

Вместо Матиаша Жалинского, Анна её использовала для писем, когда их не могла писать сама, ею пользовалась, желая сохранить в чём-то тайну. Дося умела её развлечь, прибавить мужества, предотвратить постоянные нападения охмистрины, избавить от её сына и т. п.

Матиаш, парень как секирой вытесанный, придворный испорченностью, но не умом, так как был тупым, хотя много мнил о себе, не мог ежедневно видеть и неустанно тереться о Заглобянку, не увлечшись её необыкновенной красотой.

Вздыхал по ней, равно с многими другими, имея больше, чем иные, ловкости рекомендовать себя, но все его старания, усилия, улыбки не смогли умиловить девушку, для которой он был слишком ограниченным.

Она использовала его, но приближаться к себе не позволяла.

Напрасно мать, которая имела к нему слабость, старалась его поддерживать. Дося ухаживания обращала в смех.

– Всем известно, – говорила она Жалинской, – что я подкидыш, которого никто не хочет признать, замуж идти не думаю, по той причине, что муж меня мог бы упрекать, что я ему ничего, даже честного шляхетского имени не принесла!

Жалинская рассчитывала, однако, на своё могущество, влияние на Анну, её посредничество и сиротство Доси. По причине сына она также не выступала так против неё, как могла бы не раз, находя её помехой.

Заглобянка не переносила Жалинской, ясно видя её намерения в отношении принцессы. Не таилась с ними охмистрина, говорила открыто.

– Ей около пятидесяти лет, ей снится, что она ещё замуж может выйти. Зачем ей это. Возьмёт после брата достаточно денег, обеспечат её паны, дадут землю или в Мазовии, или где-нибудь ещё и будет Господа Бога славить, а мы при ней спокойно наслаждаться жизнью.

Я для неё сына охмистром воспитала, я и он, лишь бы глупых побуждений не слушала, нас хватит, чтобы всё в порядке держать.

Теперь со смертью короля всё так складывалось, что Жалинская начинала быть беспокойной. Слышала вокруг говорящих о том, что на случай его смерти, когда будут выбирать нового короля, наверняка, Анну рекомендуют как жену.

Жалинская не боялась удаления, хорошо зная сердце пани, но предвидела, что и сын, и она должны были отойти в сторону и уже так контролировать её не могли бы, как она себе планировала.

Среди этой кучки, заменяющий охмистра Конецкий обращался с великой важностью, думая, что чрезвычайно деятельный, а в действительности, не видя ничего и даже совсем ничего не делаю.

Следил за порядком, ходил, спрашивал, выдавал приказы, которых не слушали, забывал о том, что говорил, а, впрочем, ревностно всегда упрекал пани во всём, хотя никогда его почти ни для чего не использовали.

Конечному было достаточно, когда его служба и придворные чтили титулом охмистра и насмешливо ему кланялись.

Отъезд Сигизмунда Августа, которого принцесса видела только последнего дня и нашла почти догорающим, породил великое беспокойство.

Она оставалась одна в этом пустом замке, не будучи даже уверенной, будет ли иметь вести о здоровье брата. Никто о том не беспокоился. Один староста Вольский мог ей в этом послужить.

Референдарий Чарнковский собирался также находиться при короле и она рассчитывала, что письмом он сможет её уведомлять.

Выздоровления едва ли можно было ожидать, а спрошенный доктор Чечер, отвечал, что хоть чудеса случаются, но там, где бабы и колдовство докторам портят работу, не большую на них надежду следует возлагать.

В то время повсюду рассказывали, что покинутая королём какое-то время назад Заячковская, каждую неделю вечером определённого дня с какими-то обрядами бросала в огонь горох, проклиная, чтобы так же лопнул тот, что ей верным быть не хочет.

Другие чаровницы мыли и парили больного, отрывали лоскутки его одежд, чтобы иметь его в своей власти. Одна из них дала ему простое колечко, которое он носил как самый дорогой перстень.

Было всегда около короля этих баб, из Вильна и из разных сторон привезённых, достаточно... что же потом могли доктора?

Спустя пару дней после отъезда короля Жалинская узнала и принесла сразу принцессе то, что по дороге из Варшавы в Книшин Барбара Гижанка ждала Августа на Острове. Не было этому конца!

Кто же мог предвидеть, что ждало короля в Книшине? И что же с ним собирались предпринять любимцы, на милость которых он был отдан?

\* \* \*

В воскресенье 6 июля смеркалось, когда староста тыкоцынский Лукаш Горницкий, вылезши перед двором из кареты, пешком пошёл к двери здания, в котором король лежал в Книшине, со страхом доведываясь о панском здоровье.

По лицам людей, которые стояли на крыльце и во дворе, по тишине, которая здесь царил, хотя было беспокойное движение, он мог заключить, что тут светилось зло.

Узнав, несмотря на мрак, старосту, вышел ему навстречу придворный Лисовский и шепнул, что король несколько раз слабым голосом спросил, не прибыл ли он, и наказал ему немедленно, когда явится, впустить к себе, хотя бы он отдыхал или дремал.

Шёл, поэтому староста, уже не задерживаясь, а тут его в первой комнате встретил референдарий Чарнковский, который сидел у окна со сложенными руками, словно молился, и, увидев Горницкого, поднялся к нему.

– Идите к королю, идите, – шепнул он, понижая голос, – он хотел говорить с вами. Плохо ему. Духовные его к примирению с Богом и принятию Святых Тайн готовят. Жизни осталось не много.

Когда он это говорил, из другой комнаты выступил Якоб Залеский, староста пиасечинский, и, увидев Горницкого, поспешил к нему, говоря:

– Король ожидает вас.

Не вдаваясь, поэтому, уже в расспросы, Горницкий поспешил за Залеским, который проводил его в спальню.

В комнатах, через которые они проходили, пановала тишина и наполнял их грустный вечерний сумрак. Воздух был тяжёлый и душный.

У двери спальни, когда тихонько постучали, появился Княжник, который уже собирался окрикнуть, чтобы не прерывали пану отдых, когда, увидев старосту, поднял заслону и быстро впустил его, не спрашивая.

В комнате также было очень темно, только в уголке горела заслонённая маленькая лампа, а что окно не было полностью закрыто, пламя её двигалось и мигало.

В глубине на широком низком ложе, зашторенном алым балдахином, отдыхал король, болезненно дремля и грезя, весь в ткани, только с ногами, покрытыми шёлковым одеялом.

Жёлтое, похуевшее лицо его виднелось, лежащее на белых подушках, с закрытыми глазами. Руки белые, костлявые, держал сложенными на груди.

Несмотря на то, что староста старался войти как можно тише, Сигизмунд Август услышал или почувствовал его прибытие, медленно тяжело поднялись веки и задвигались бледные губы.

Горницкий, взволнованный видом умирающего, стоял как вкопанный и его глаза увлажнились.

Мгновение продолжалось молчание, с ложа послышался слабый голос.

– А, это ты... наконец-то... я ждал...

Одна рука с трудом немного поднялась и сделала знак, чтобы он подошёл. Послушный Горницкий медленно приблизился на цыпочках.

Глаза короля, которые были впалыми, поднялись к нему и уста дрогнули.

Староста, так давно и хорошо знавший короля и видевший его в разных расположениях духа, был испуган переменной его лица.

Было это всегда то же самое, серьёзное, ягелонское лицо, облачённое какой-то вечной грустью, но сейчас, приближающаяся смерть придавала ему торжественное выражение, ещё более величественное и важное.

Это не был уже человек, живущий на земле и занятый земными делами, но духом частично в ином мире.

Староста ни одного вопроса задать ему уже не смел, стоял, с болью в душе всматриваясь в него, и заломил руки.

Было слышно тяжёлое дыхание в груди и хрип.

Несколько раз веки немного подвигались и упали.

– Конец, конец приближается, – отозвался он потихоньку после долгого периода ожидания. – Я жил слишком долго, слишком долго, страдал много... оставляю вас сиротами.

Горницкий еле мог подавить плач, который, несмотря на мужество, наполнял его грудь и глаза.

– Милостивый пане, – сказал он, – живите, Бог милостив, здоровье к вам вернётся.

На устах короля была видна как бы незаконченная усмешка.

– Ни для себя, ни для вас этого не желаю, – промолвил он крайне тихим голосом. – Я боролся напрасно, с долей бороться напрасно, никто своей участи не избежит.

Король остановился, словно ему не хватало дыхания, поглядел на Горницкого и шептал снова:

– Вся жизнь, вся стоит предо мной как развёрнутая карта. Вижу её перед собой. Полоса предназначений. У колыбели мать, да, мать, которая должна была быть моим гонителем и



недругом моего счастья. Отец, любящий и суровый... льстецы и женщины... а! эти женщины, эти соколы, которые отравили мою жизнь. Из-за них гибну! а я так их любил!

Он замолчал снова.

Горницкий хотел остановить его, и шепнул, что разговор раздражает и утомляет его.

Август, казалось, не слышит и не понимает. Дыхание стало более живым, веки открыли впалые глаза, но сверкающие необычным блеском.

– Ты видел Элжбету<sup>6</sup>, первую мою... пала жертвой, невинная, бедная, ангельское создание. В чём она провинилась, что ей мученицей быть предназначено...

Барбара<sup>7</sup>... а! любимая моя Бася, за которую с народом бороться, с матерью войну вести, с целым светом ссориться пришлось, её и меня желчью и полыньёю поили.

И та, как цветок, на моих глазах увяла... и та...

Горницкий заметил, как две слезы появились медленно из-под век и, нестёртые, покатались медленно по лицу, исчезая где-то на ткани, в которую просочились.

И снова было молчание, король немного поднялся, сделал усилие, но ослабевшее тело вынудило упасть безвольно на постель, он дышал всё тяжелее, но дыхание становилось учащённым.

– Хотел жить с Катериной, тогда смерть нарушила планы. Не мог победить себя. От того, что умру бездетным, последним, со мной в могилу пойдут Ягелоны.

Бог, судьба, предначертание, фатальность, железный закон разрушения.

Горницкий хотел что-то вставить, чтобы грустные эти мысли изменить, король говорить ему не дал.

– Бездетным! – промолвил он. – Это ничего, но сойти без доброго имени, без утешения от великого дела.

Староста, я всё хотел, но ничего не мог. Литва до сих пор дует на то, что обеспечили её будущее. На Унию я работал всю жизнь, из-за неё отказался от прав... они её не хотят...

Уважал их свободы... плевали мне в глаза за это. Не было более несчастного, чем я. На Русь собирался идти отнимать забранное... препятствия мне ставили.

Врагов повсюду, друзей не имел нигде, нигде, никого.

– А! Милостивый пане, – прервал Горницкий, – не чините нам, верным слугам своим, кривды, мы ценили вас и любили!

– Многие? Кто? – прервал король. – Мой староста, смерть глаза промывает и даёт зрение, что до глубины души проникает... вижу в каждом, что в себе носит, до мозга костей.

Друг для добычи, любовник для милостей и даров, есть многие, а кто любил?

Он замолчал и медленно ударил себя в грудь.

– Я виноват, виноват, – шептал он, – прости мне, пане, я много виноват, а прозрел слишком поздно.

Староста, помните о той сироте, принцессе Анне, я жизнь ей отравил. Что с нею будет? Будет до конца жизни слезами обливаться?

– Милостивый пане, – подхватил Горницкий, – народ никогда своих панов крови не отвергал и не забыл о ней. Не тревожьтесь за судьбу принцессы.

– Слишком поздно придёт к ней корона и брак, – прервал снова тише король. – Катерина много претерпела, София овдовела, сирота Анна на вашей милости.

А что же с этим королевством?

Король остановился и долго молчал, смотрел на старосту, как если бы его вызывал.

– Выбирайте осторожно, чтобы за чечевицу прав своих не лишились. Достаточно тех, кто стремится к нашей короне.

---

<sup>6</sup> Елизавета Габсбург (1526–1545) – первая жена Сигизмунда Августа.

<sup>7</sup> Барбара Радзивилл (1520–1551) – вторая жена Сигизмунда Августа.

– Император первый, – прошептал Горницкий.

– Император? – пробормотал король. – Из-за них мы потеряли Чехию и Венгрию, обе страны Ягелонам принадлежали. Отец дал им себя запутать и вырвать их у себя. Император сделал меня бездетным, император закуёт вас в неволю!

Он поднял руку, которая тяжело упала на постель.

– Литва за царём<sup>8</sup> из страха. Он тиран. Катерина цепенела от страха, чтобы её не выдали ему; не отдавайте ему Анну, бедную Анну. Убьёт её.

Не смел Горницкий вспомнить о французе, но король сам шепнул:

– Французского короля брат сватается, чужой нам, далёкий, молодой. Польша ничто для него, он ничто для вас.

И добавил после раздумья:

– Прусский герцог? Кто же знает? Захотите его?

Староста слушал с напряжённым вниманием, но эти мысли, перемещающиеся по очереди в голове замечтавшегося, казалось, его слишком удручают; он прервал его, успокаивая.

– Милостивый пане, Бог милосерден. Если осиротить не захочет, будет заботится! Зачем же беспокоиться заранее.

– Да! Судьба неизбежна, необходимость железная, – вздохнул он. – Вижу будущее, вижу его... грустное...

– Ваша милость, – отозвался Горницкий, – хотите мне выдать какие-нибудь приказы? Вы приказывали меня позвать.

Король беспокойно провёл рукой по лбу.

– Не знаю уже, – сказал он, – да... вы были мне нужны... Мне хотелось иметь кого-то при себе...

Его глаза повернулись к двери.

– Соколы и орлы... жадные... никого больше... все чего-то выпрашивают, никто ничего не приносит. Слова утешения... доброй слезы...

– Какой это день? – спросил он вдруг.

– Воскресенье, – шепнул Горницкий.

– Да, было это сегодня утром? Или вчера, или месяц назад? Уже не знаю. Вместе смешалось вместе, всё прошлое лежит запутанным передо мной. Эти соколы...

– Избавиться бы от них, милостивый пане, – сказал староста.

– Плачут, – начал король, – как отец, женских слёз перенести не умею. У Гижанки есть дочь... Мой единственный ребёнок. Заячковская... знаешь... я хотел на ней жениться... ждёт... мир связан...

Зюю Орловскую даже сюда привезли... и та... А! Эти соколы!

Не смел ничего сказать Горницкий, но ему сделалось неприятно, а когда потом король замолчал, отважился шепнуть:

– Не думать бы о них!

– Да, – вскоре сказал король, – чарами меня и напитками взяли, а здоровье и жизнь ушли. Тех, кого я любил, судьба быстро у меня вырвала... промелькнули через жизнь мою как тени, только сны теперь о них. Вижу их, как бы живые были. Стоят около меня... Элжбета и Бася вместе. Староста, – сказал он живею, – ты привёз мне с собой их изображения?

– Они имеются в Тыкоцыне, – ответил Горницкий.

– Я сейчас хотел иметь... порадоваться ими, – сказал король. – В Тыкоцыне! Езжай же за ними, прошу тебя, езжай и завтра спеши ко мне с возвращением. Хочу их иметь, хочу иметь их непременно сейчас, хотя бы до могилы.

---

<sup>8</sup> Имеется ввиду Иван Грозный.

Горницкий начал объяснять, почему их не забрал с собой, но тот, погружённый в мысли, уже, казалось, его не слушает, и повторил:

– Завтра, привези мне их завтра.

Затем словно что-то себе припомнил:

– Белинский, – спросил он, – есть в Тыкоцынском замке?

– Ни на шаг не отходит от него, – ответил Горницкий. – Это человек, на которого можно положиться, милостивый пане.

– Поэтому я его над моей казной поставил, – слабеющим голосом добавил Август. – Это муж старой веры, старой праведности. Скажи ему, пусть никому ни отдаёт после меня имущество, кроме принцессы Анны... Она сестёр не обидит, а я хочу, чтобы она обиженной не осталась. Бедная Анна... На её сиротство упадёт корона! Кто знает? Вырвут у неё, может, и моё наследство и её... из Ягеллонок последней.

– Милостивый пане, не может этого быть, – прервал староста, – этих мыслей даже не допускайте; люди бывают неблагодарными, народ неблагодарностью запятнать себя не может.

Лицо Сигизмунда Августа сменило насмешливое выражение.

– Ты ошибаешься, староста, ошибаешься, – промолвил он, – наоборот, благодарных людей, может, что-то найдётся, народы всегда должны быть неблагодарны!

Напрасно хотел запротестовать староста тыкоцынский, король покачал головой.

Но в результате долгой уже беседы была видна усталость.

Среди неё Сигизмунд Август иногда казался спящим. Ему не хватало слов и заполняло их бормотание... Бормотания прерывали новые. Староста не смел без разрешения ни удалиться, ни дольше мучить короля, который, как только его видел, как бы побуждаемый к разговору, открывал уста, и вскоре, исчерпав себя, слабел.

В конце концов, думая, что аудиенция слишком затянулась, он сделал пару шагов от королевского ложа, но король услышал ходьбу и открыл глаза.

– Езжай, – сказал он, – езжай, скоро... прошу тебя... изображения, знаешь, два вместе, Элжбеты и Барбары, привезёшь мне их завтра.

– Я немедленно отправляюсь исполнять приказ, милостивый пане, – отозвался Горницкий, уходя.

Король, должно быть, уже не услышал ответа, потому что староста увидел его с открытыми устами, глубоко спящим, слышалось только тяжёлое дыхание и храп утомлённой груди.

Когда, осторожно подняв занавесь, староста тыкоцынский очутился в предыдущей спальне, в которой у дверей стояли Княжник, Плат и чашник Якоб на каком-то тихом совещании, ему понадобился долгий отрезок времени, чтобы прийти в себя – так ещё в его памяти, в сердце звучало то, что слышал из уст умирающего.

Не подлежало для него сомнению, что король уже с этого ложа боли не встанет, что это были последние часы и слова последние.

Взволнованный до глубины души, Горницкий пытался овладеть собой, но рыданий сдержать не мог.

К стоящему недалеко от порога приблизился Фогельведер и взял его за руку.

– Всякая надежда потеряна? – спросил Горницкий. – Доктора, есть у вас ещё какая-нибудь надежда?

Фогельведер покачал головой.

Мгновение молчали. Доктор взял его за руку и вывел за собой в другую комнату, в которой, помимо референдаря Чарнковского, временно находился маршалек Радзивилл, в стороне тихо расспрашивая Якоба Залеского о короле.

Увидев возвращающегося Горницкого, Чарнковский подошёл к нему.

– Ты говорил с ним? – спросил он.

– Да, – сказал староста, – и разговор был для больного, может быть, слишком долгим. Он утомил его, но отпустить меня не хотел.

– Дал тебе какие приказы?

– Приказал мне ехать в Тыкоцын, чтобы ему завтра привезти два изображения, Элжбеты и Барбары, которые привык носить при себе.

– Завтра! – подхватил Чарнковский грустно. – Но кто же знает, будет ли оно... Бедный пан!

– Не вспоминал что о принцессе?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.